

[Polaris]

Николай Павлов



ТРИНАДЦАТЬ СЕАНСОВ
ЭФИРИЗАЦИИ

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

XLI



Salamandra P.V.V.

**Николай
Павлов**

ТРИНАДЦАТЬ СЕАНСОВ ЭФИРИЗАЦИИ

Фантастические рассказы

Salamandra P.V.V.

Павлов Н. Д.

Тринадцать сеансов эфиризации: Фантастические рассказы. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2014. – 88 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. XLI).

В книгу вошли забытые фантастические рассказы драматурга и беллетриста Н. Д. Павлова (1855/56-1908), сочетающие научно-фантастические и оккультно-мистические темы.

Н. Д. Павловъ.

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ

РАЗСКАЗЫ.



I. Необыкновенные рассказы. Теорія доктора Коцуискаго. Воспоминанія покойника. Тринадцать сеансовъ эфирнации. Лучше никогда, чѣмъ поздно. На виноградѣ, въ Ялтѣ. Вечеринка у сумасшедшихъ. Обезьяна и женщина. Дѣвъ встрѣчи. II. Шаржи и каррикатуры. Воздушный шаръ и уютъ. Impressario Марсова поля. Открытіе. Онъ, она и оно.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія В. Войцицкаго и С. Корнатовскаго

3, Малая Морская, 3.

1892

ТРИНАДЦАТЬ СЕАНСОВ ЭФИРИЗАЦИИ

ТЕОРИЯ ДОКТОРА КОЩУНСКОГО

(Городская легенда)

Предания о сверхъестественном и рассказы о легендарных событиях не составляют исключительной принадлежности далекого прошлого, но существуют и в наше прозаическое время. Средневековые легенды Карла Великого и Роберта Дьявола сменились, с течением времени, легендой Наполеона. Все писатели, разрабатывавшие легенды — Шлегель, Гердер, Вильмаркэ, Мори, а равно Гете и Виктор Гюго — черпали сказания не только из средневековых, но и из значительно позднейших источников, доходящих, в иных случаях, даже до половины текущего столетия. Легенды, которые пересказываются в разных местностях России, часто также относятся к настоящему, как и к прошлому. Множество таких легенд и преданий, описывающих то, что совершилось на народной памяти, идет толпой вдоль бесконечных берегов Волги, теснится в ущельях Дагестана, грезится потомкам храбрых чеченцев и передается из рода в род у татар, самоедов, якутов, чувашей и зырян.

По самому свойству своему, легенда селилась всегда под тенью густых, вечнозеленых лесов, ютилась на пустынных горных вершинах и населяла печальными призраками высокие и неприступные замки отжившего прошлого. Старинные русские легенды, в свою очередь, имеют местом действия или темные дубравы Волыни, в непогожий осенний вечер, или берега зачарованного «стодола» в Малороссии, в яркую лунную

ночь, исполненную таинственной поэзии, или печальные снеговые пустыни, засыпаемые метелями и бурянами.

Таким образом, все эти рассказы, полные тайны и очарования, по-видимому, сторонятся от больших городов, где нет простора для фантазии и приволья для чувства. Призракам легенды тесно в узких улицах города, и таинственный ропот предания бессилён бороться с шумом и гамом городской жизни. Однако, это не совсем так. Города имеют свои легенды, и эти «городские легенды», исполненные мрачного смысла, толпами блуждают по узким, лишенным света и воздуха улицам, спускаются в убогие подвалы, заглядывают на чердаки и наполняют своими бледными призраками роскошные, ярко освещенные чертоги.

Одна из таких «городских легенд» и является предметом настоящего рассказа.

I.

Во второй половине семидесятых годов, в столичных, а за ними и в провинциальных городах было замечено странное движение, охватывавшее все классы городского населения. Движение это коснулось, между прочим, и большого университетского города N. Начиная с мелкого мещанства, проводившего целые дни на одной из окраин города, перед домом, в котором было «нечисто», и кончая довольно большим кружком профессоров местного университета, зани-

мавшимся исследованием явлений мантевизма, гипнотизации и спиритизма, — весь город был одержим манией таинственного, неисследованного и непостижимого. Под впечатлением фантастических рассказов, в чрезвычайном обилии циркулировавших по городу, были смущены и настроены на нервический тон сверхъестественного даже такие лица, которые были чужды области таинственного едва ли не в большей мере, чем чужды этой области домашние животные этих лиц. Мелкие лавочники, возвратясь домой, на лоно своих семейств, с немалым смущением передавали содержание городских толков про нечистую силу, забравшуюся в дом сапожника, по Глухой улице и, несмотря на совокупные усилия пристава, его помощника, шести околоточных и одиннадцати городских, не желающую оставлять излюбленного ею дома. Городские кумушки прибавляли при этом, что, благодаря столь неуместному и даже противозаконному пребыванию нечистой силы в доме, исконные обыватели его принуждены были искать себе другого пристанища. Полицейские протоколы, в свою очередь, надлежащим и вполне форменным, хотя и недостаточно грамотным образом, «удостоверяли о разбитии» всех до единого стекол в окнах злосчастного дома. Мелкий чиновный люд забросил, в это время, не только свой вечный преферанс, но и только что входившую тогда в моду игру в винт, чтобы посвящать свои досуги продолжительному сиденью вокруг стола, в чаянии его движения и стуков. Многие из этих двигателей науки или, вернее, двигателей стола предъявляли довольно странные претензии к силам, одухотворяющим безжизненную «столешницу». Так, один очень старый и совершенно выцветший чиновник держал над столом свои растопыренные пальцы до полного их одеревенения, в твердой решимости вывести

когда-нибудь от «духа» действительное средство от геморроя. В таком же роде были и соображения многих спириток описываемых кружков городской «интеллигенции». Одна из них тщила узнать у столешницы способ обворовать судебного пристава при местном окружном суде, молодого человека, расторопного до такой степени, что, считаясь постоянно женихом той или другой избранницы своего сердца, он, в течении целых десяти лет, с успехом выдирался из уз Гименея. Другие спиритки не задавали столешнице столь сложных задач и соглашались удовольствоваться лишь перечислением цифр того выигрышного билета, на который должен пасть, в грядущий тираж, выигрыш не меньше 75 тысяч. Для многих, впрочем, сеансы спиритизма являлись лишь средством провести несколько вечерних часов в близком и приятном общении с молодежью другого пола. Но даже эта веселая и беззаботная молодежь смущалась иногда при слишком явных и энергичных попытках стола завести оживленную *causerie* с присутствующими испытателями таинств природы.

Что касается не фальсифицированной, а настоящей интеллигенции города N, то и она, в свою очередь, чутко прислушивалась к новым речам о новых предметах и с интересом отыскивала в столичных газетах, специальных медицинских изданиях и даже в кое-каких заграничных журналах все, что так или иначе, относилось к явлениям гипнотизации, мантевизма, тогда еще не получившего этого названия, и к теории «четвертого измерения», о котором, впрочем, имелось довольно смутное представление, так как многие «испытатели непостижимого» с немалым трудом справлялись даже и с «тремя» измерениями. Интерес этот поддерживался, между прочим, положительными известиями о том, что в рядах пророков сверхъестест-

венного насчитывается немалое число профессоров нескольких, в том числе и столичных, университетов. Что касается до местного университета, постоянно и неизменно дававшего тон городу, то в нем чуть ли не половина всех жрецов науки, да еще, будто нарочно, науки как нельзя более точной, положительной и «естественной», находилась в числе сторонников всего неестественного, очень мало положительного и совершенно неточного.

Исследователи таинственного и предвозвестники будущих знаний нимало не стеснялись исповедовать свою веру, признаваться в своих увлечениях и, вместе с тем, разглашать об удивительных результатах своих опытов. Впрочем, опыты эти, производившиеся в обширных аудиториях университета, были обставлены всевозможными приспособлениями, совершенно исключавшими всякий обман или даже ошибку. Старые ученые, действительно и не на шутку, призадумывались над своим старым мировоззрением, не будучи в состоянии создать себе нового, и отголоском этого, по-видимому, столь странного волнения в ученых сферах, а также и нелепой сумятицы в уличной жизни, было полно все общество провинциального города N.

II.

Увлечения местного общества разделялись, однако, на высших ступенях последнего, далеко не всеми. Как в среде профессоров, так и в среде местной интеллигенции вообще, насчитывалось немало ярых антагонистов фантастического поветрия, охватившего древних и увенчанных лаврами ученых, всех этих математиков, химиков и историков. Самым опасным для

этого поветрия, не без основания, считался еще очень молодой, не старше 35-ти лет, но уже стяжавший себе громкую известность в науке своими трудами по физиологии, — известность, успевшую перешагнуть границы государства, — доктор медицины Владимир Яковлевич Кошунский. Этот ярый противник фантастического движения вовсе не думал вступать в какие-либо диспуты с его сторонниками. С большим хладнокровием и неизменной аккуратностью посещая всевозможные собрания и сеансы, он, однако, никогда не следовал примеру своих единомышленников и вовсе не искал признаков фокуса, фальши или обмана там, где их очевидно не могло быть. Вместо споров, он ограничивался сдержанной, но в самой сдержанности злой улыбкой иронии. Он, очевидно, держал за пазухой камень, веский и солидный, который когда-нибудь должен был полететь в ряды его противников. Впрочем, о существовании такого камня можно было пока только догадываться, хотя эти догадки и делались с уверенностью тем большей, что доктор Кошунский с величайшим терпением высиживал на сеансах целые долгие вечера, делая заметки в своей записной книжке и подробно исследуя все детали опыта; он, с видимым интересом, искал всевозможных случаев посещать старые и необитаемые дома, за которыми упрочилась репутация «неблагополучных» и, как говорили, действительно проводил целые ночи в старинных заброшенных склепах, уцелевших кое-где в старом, историческом городе, в опустелых помещичьих хоромах, покинутых своими обитателями, и не брезгал убогими хатами, лишь бы они, хоть по слухам, были облюбованы какими-нибудь «призраками», порожденными, конечно, необузданной фантазией народа и вскормленными его широкой молвой.

В один из тех зимних вечеров, которыми заканчивался старый год, молодой доктор отправлялся на «изыскания», как он называл свои оригинальные экскурсии по заброшенным мансардам и погребам, с которыми было связано какое-нибудь предание, поверье или легенда. На этот раз целью экскурсии была одна из самых глухих и отдаленных улиц, затерянных на окраине огромного города. Вероятно, изыскания его должны были представлять, в данном случае, особенный интерес, так как он собирался на них с чрезвычайной тщательностью. Во всяком случае, сборы молодого доктора поражали своею оригинальностью.

Прежде всего он уложил в свой дорожный, поместительный сак небольшую аптечку — «артиллерию для борьбы с привидениями», как он шутливо называл иногда этот деревянный ящик, наполненный медикаментами и вещами, подбор которых мог бы поставить в тупик любого врача. Тут были объемистые пачки — одна с очищенной содой и другая, такая же — с виннокаменной кислотой. Очевидно, что молодой ученый освежал себя, во время долгих ночных наблюдений, шипучим и ободряющим напитком. Ту же цель, по-видимому, имели несколько сортов нюхательной соли и две-три склянки с нюхательным же спиртом. Противолихорадочные средства были представлены хинином, развешанным в пилюли по одному грану, заключенные в небольшие пеналы. Кроме того, здесь же лежали нарывные пластыри и пачки горчичников Риголо. Весьма видное место занимали в ящике бутылки с несколькими сортами жидкостей, которые, судя по названиям, должны были служить для дезинфекции, и небольшой пульверизатор с гуттаперчевым шариком. В крышке ящика было заткнуто два-три наиболее простых из хирургических инструментов, вроде ланцета.

Кроме этой, столь нелепой по своему составу, аптечки, доктор уложил в свой сак термометр, несколько книг, большую записную тетрадь и письменные принадлежности. Затем он поместил туда пары три или четыре обожженных стеариновых свеч, сверток серебряной проволоки, дающей при сгорании ослепительно яркое освещение и называемой, в просторечии, магнием и, наконец, несколько пачек различных спичек, причем последние были положены в сак в количестве, значительно превышающем всякую обыденную потребность.

Снабдив себя этим разнохарактерным багажом, доктор Кошунский засунул в один карман портсигар, а в другой, — так называемый *Revolver-Tasche*, карман, устраиваемый на задней стороне талии, — шестиствольный, толстенный, никелированный и весь сверкающий угрозой смерти револьвер, носящий характерное название «бульдога». Затем он прошелся по своему роскошному кабинету, подумал, машинально провел рукою по всем карманам своего одеяния и, подойдя к столу, вынул из ящика небольшой стилет на ремне, который он обвязал под сюртуком, вокруг стана.

Приготовления были, по-видимому, окончены, но, судя по тщательности, с которой они производились, можно было не без уверенности предположить, что экспедиция молодого доктора носила особенно серьезный и тревожный характер.

Владимир Яковлевич Кошунский вышел из своего подъезда в половине девятого часа. На дворе стояла беспросветная декабрьская ночь, ненастная и холодная, несмотря на начинавшуюся оттепель. Зазябшие лошади, поданные к крыльцу Кошунского, рванули экипаж с места и быстро понеслись по жидкому и мокрому снегу главной улицы города.

III.

В окна кареты замелькали уличные фонари и ярко освещенные витрины магазинов. Высокие здания сменялись потом небольшими, убогими домишками, прерываемыми кое-где мрачными каменными громадами с высокими трубами, очевидно, фабриками и заводами. Постройки становились все реже и реже и перешли, наконец, в унылый ряд покосившихся заборов. Пешеходов здесь почти не было, и карета, пронесаясь по целому лабиринту узких и кривых переулков, остановилась перед длинным забором, когда-то изукрашенным затейливыми столбиками, деревянными шарами и различными орнаментами.

На глухой шум экипажа вышла из калитки серая и вполне обыденная фигура дворника, того же самого флегматичного, неодобрительного и несколько пренебрежительного вида, каким отличаются они во всех городах и весях Российской Империи.

— Приехали? — спросил он Владимира Яковлевича, отворяя дверцы кареты.

— Приехал, — так же коротко отвечал молодой доктор, собирая с подушек экипажа свой несложный багаж и отдавая затем кучеру приказание ехать домой.

— Знать, в прошлый раз мало показалось?..

— Мало.

Карета сделала почти правильный круг, вырезавшийся на талом снегу, и медленно поехала в обратную сторону.

— Чудно... Что вам, платят за это? Или, может, вы от полиции назначены? Так полиция тут ни при чем... Покойные господа даже архиерея приглашали...

— Архиерей тут не годится, — задумчиво сказал доктор. — Тут совсем другое... Вот, что, любезный... — прибавил он другим тоном. — Ты здесь один?

— Один... Можно сказать, во всем переулке один. С нового года к себе, в сторожку, кого ни на есть жить пушу. А то уж очень, сударь, жутко становится.

— Отчего же жутко? Ведь у тебя в сторожке явлений никаких не бывает?...

Дворник утрюмо покосился на своего гостя.

— Явлений, сударь, не бывает, а все же иногда слышно, что в доме делается. Так, в те поры, всю ночь потрясешься от страха. Закроешься тулупом и трясешься... Даже водка, сударь, этого страху одолеть не может.

— Так вот что я хотел тебе сказать, — перебил его доктор. — Мне нужно, чтобы ты сегодня оставался в своей сторожке и не входил в дом даже в том случае, если я стану тебя звать... Есть ли у тебя какой-нибудь висячий замок, которым можно было бы запретить твою каморку снаружи?

— Замок, сударь, найдется...

— Кроме того, мне надо осмотреть в твоей сторожке окно... Сколько мне помнится, оно — не велико, и взрослому человеку в него не пролезть, не правда ли?

— Не пролезть-то не пролезть, а только...

— За сегодняшнюю ночь, кроме постоянной платы, ты получишь хорошую прибавку, — добавил Кошунский тоном, не допускающим возражений и, перешагнув калитку, твердо и уверенно пошел по цельному снегу по направлению к ветхой и грязной однооконной избушке, исполняющей обязанности дворничьей.

Подойдя к убогой постройке, он тщательно осмотрел действительно крошечное оконце, потом взял вы-

несенный дворником большой железный замок, по-видимому, от какого-нибудь сарая, пропустил дворника обратно в избушку и, навесив замок на пробой, сделал несколько оборотов ключом.

Теперь он стоял один посреди пустынного и темного двора, заканчивавшегося двухэтажным домом, который выходил сюда своими пристройками и различными службами. Лицевой фасад дома был обращен в противоположную сторону, где находился сад, таинственный и угрюмый летом и положительно страшный зимою.

Доктор, тщетно отыскивавший какую-нибудь тропинку, должен был обогнуть двухэтажное здание, идя все так же по целому, рыхлому снегу, в который нога уходила выше лодыжки. Обойдя дом, он остановился на минуту перед его фасадом. Это было старинное здание казенно-барской архитектуры тридцатых годов. Фасад украшали восемь тяжелых и безвкусных колонн, увенчанных треугольной крышей. Дом был погружен в мрак и безмолвие; окна, частью заколоченные, частью лишенные рам и стекол, смотрели безжизненными глазами слепца.

Доктор вынул из кармана дверной ключ и отворил двери подъезда. Войдя в сени, он пошарил рукой по подоконникам и скоро нащупал жестяной фонарь с уцелевшим в нем сальным огарком. Он зажег свечу и стал подниматься по лестнице во второй этаж, освещая свой путь мерцающим светом еще не разгоревшегося огарка. Взобравшись по лестнице, он пошел по длинному ряду пустых комнат. Из глубокой тьмы стали постепенно вырисовываться и выделяться различные предметы старинной и тяжелой мебели, когда-то вызолоченной, а теперь покрытой пылью и плесенью, какие-то бесформенные очертания свесившихся с карнизов портьер, оборванные обои и треснувшие квад-

ратики старинного паркета. По временам, свет фонаря падал на край поволоченной рамы, иногда он отражался и вспыхивал цветным огоньком на подвесках разбитой хрустальной люстры, порой освещал небольшие лужицы растаявшего снега, наметенного, во время бывших метелей, в углах комнат и на подоконниках разбитых окон.

Некоторые из комнат, по которым проходил Кошунский, были совершенно лишены мебели, другие были сплошь завалены какими-то пустыми деревянными ящиками. Тут же лежали кучи рогожи и виднелись обрывки каких-то свернувшихся в бессильных изгибах веревок. Иные комнаты, напротив того, имели еще довольно жилой вид, но эти комнаты так мало гармонировали с окружающими их пустотой, запущенностью и безлюдьем, что могли внушить лишь чувство странной робости и невольного смущения.

Впрочем, доктор Кошунский вряд ли мог испытывать эти чувства. Он шел твердой и уверенной походкой, не развлекаясь обстановкой комнат, очевидно, уже несколько ему знакомых. Пройдя целую анфиладу больших и малых гостиных, два зала и несколько комнат неизвестного назначения, он остановился в большой и мрачной комнате, обитой когда-то темно-зеленым сафьяном, от которого теперь остались на стенах лишь небольшие обрывки. Посреди комнаты стоял огромный письменный стол, покрытый влажной пылью и затянутый по углам, образуемым его ножками, густым слоем паутины. По стенам были расставлены книжные шкапы с пустыми полками, на которых кое-где валялось два-три книжных переплета и несколько пожелтевших от времени газетных листов. Разбитое зеркало блестело матовой поверхностью и утратило уже, от времени, свою способность отражать предметы. В одном из углов этого заброшен-

ного кабинета, когда-то роскошного и уютного, были сложены огромные гравюры в тонких рамках черного дерева с разбитыми стеклами; в другом лежала какими-то судьбами попавшая сюда большая вязанка дров; рядом с нею валялось множество бутылок из-под шампанского. Между разнокалиберной мебелью довольно хорошо сохранилось большое кожаное кресло с почти неповрежденной обивкой.

Войдя в эту комнату, Кошунский поставил свой фонарь и положил сак на письменный стол и, после небольшого раздумья, стал устраиваться в ней с видом человека, которому предстоит долгое ожидание и который решился быть терпеливым.

IV.

Прежде всего, он приступил к выгрузке своего разнообразного багажа, давая многим вещам немедленное употребление. Сначала он вынул из мешка все свои свечи и целые пачки восковых, фосфорных и так называемых шведских спичек. Свечи он тотчас же зажег и разместил по разным углам комнаты, воткнув их в горлышки шампанских бутылок, освобожденных им из-под вязанки дров. Две свечи он оставил на столе, по столько же разместил на каждом из двух окон, а остальные поставил на высоких книжных шкапах. Освещение и возможность добыть свет, в случае, если бы он от чего-нибудь мгновенно угас, были, очевидно, его главной заботой. Разложив спички почти во всех углах комнаты, он принялся вынимать из сака книги, письменный прибор, записную тетрадь и, наконец, медикаменты. Вынув склянки с карболовой кислотой в чрезвычайно сильном растворе и несколько

других с самыми разнообразными дезинфицирующими жидкостями, он стал, при помощи пульверизатора, опрыскивать этими жидкостями, иногда меняя их, стены и мебель, причем с особенной тщательностью дезинфицировал письменный стол и придвинутое к нему кожаное кресло. Вслед за тем, он разместил на столе сверток магнезии, термометр Реомюра, банки с нюхательными солями и спиртом, пенал с хинином и горчичники Риголо, которые он приготовил для немедленного употребления, смочив их в небольшой лужеце снеговой воды, накопившейся на подоконниках.

Все эти странные приготовления молодой доктор закончил тем, что вынул из кармана и положил на стол свои часы — великолепный, поистине докторский хронометр, и револьвер, оскаливший все шесть стволов и позволявший видеть в своей пасти шесть зарядов крупного калибра. Кроме того, он отвязал от ремня свой стилет и сунул его в карман. Потом он старательно и неторопливо застегнул свое меховое пальто, нахлобучил круглую теплую шапочку и, сев в кожаное кресло перед столом, машинально развернул книгу и приготовился ждать.

Кругом стояла полнейшая, невозмутимая тишина.

Но было слышно ни звука ни с пустынной улицы, ни из прилегающих комнат, покинутых даже подпольными их обитателями — мышами и крысами. В этой тишине можно было расслышать биение человеческого сердца; что касается до тиканья часов, то оно было слышно вполне ясно.

Свечи горели ярко, освещая каждую пядь комнаты: все двери были притворены, и мрак соседних помещений не нарушал целости впечатления, производимого старым кабинетом, сравнительно спокойным и уютным.

Посидев несколько минут в кажущейся задумчивости, Кощунский раскрыл записную тетрадь и стал просматривать свои заметки.

Эти заметки, сделанные мелким и спокойным почерком, описывали чрезвычайно странные явления, которых молодой доктор был свидетелем. Тем не менее, рассказ о призраках и галлюцинациях велся совершенно ровным, уверенным тоном и отличался строгой логической последовательностью. В нижней половине каждой страницы находилось множество выносок, посредством которых были сделаны различные комментарии, по всей вероятности, позднейшего происхождения.

Очевидно, что доктор Кощунский искал разгадки того, что называется сверхъестественным и, по-видимому, был уже к ней близок.

Действительно, он уже почти заканчивал свою оригинальную «теорию явления призраков», теорию, обоснованную на строго научных данных и находившую фактическое подтверждение в каждом из фантастических опытов, исследований и наблюдений молодого ученого.

Теорию эту, стремящуюся установить истинные причины сверхъестественных явлений, призраков и привидений, можно было бы назвать «теорией микробов».

Впрочем, из рассказов о таинственных наблюдениях и описаний чрезвычайных впечатлений, испытанных молодым исследователем, трудно было составить полное и отчетливое понятие об этой теории. Несколько больше света проливали на нее подстрочные комментарии доктора, постоянно трактующие о существовании, об условиях развития и деятельности «лихорадочно-галлюцинационных микробов», об употреблении противولیхорадочных средств, о дезинфек-

ции заброшенных зданий и т. п. Впрочем, в комментариях доктора, наряду с положениями чисто физиологического характера, встречались целые страницы, разбирающие психические влияния и воздействия во всем, что касается сверхъестественного.

В соседней комнате внезапно раздался легкий и сухой треск, как будто там переломили небольшую и хорошо высушенную лучинку.

Кошунский слегка вздрогнул, тотчас же улыбнулся, потом посмотрел на свой хронометр и, обмакнув перо в дорожную чернильницу, стал покрывать мелкими и частыми строками новую страницу в своей записной книге:

«Сорок две минуты одиннадцатого. Комната в доме, по наблюдениям, № 51. Заражение комнаты микробами довольно сильное. Дезинфекция была произведена тщательно. Продолжительность пребывания в комнате — 17 мин. 20 сек. Температура помещения 4,9 град по Реом. Положение тела — сидячее, удобное и спокойное. Пульс — нормальный. Нервные явления отсутствуют. Насыщение организма микробами выражается обычным порядком, так как первым симптомом явилась галлюцинация слуха. (См. наблюдения 8, 15, 16, 27 и 29). Галлюцинация состояла в легком, коротком и сухом треске. (Сравнить с исследованиями №№ 12 и 35). Нервного возбуждения не замечается и после галлюцинации. Явление произвело, впрочем, впечатление неожиданности, так как мысль была обращена в это время на другие предметы. Вслед за выражением некоторого испуга от неожиданности, последовало выражение здорового иронического отношения к галлюцинации».

Написав эти строки и сделав справки в описаниях прежних наблюдений, молодой человек снова предался размышлениям. Он думал о своей теории, о своем,

несомненно, великом открытии, если только удастся доказать его научным путем. Последним шагом в его и без того блестящей карьере должен быть трактат: «О микробах галлюцинации». Микробы галлюцинации — это особого вида микроорганизмы, живущие и развивающиеся в старых, давно заброшенных зданиях, спертый воздух которых, вместе с тонкими и незаметными отделениями гниющего дерева, медленно истлевающих тканей и заплесневелых, осыпающихся стен, представляет благодарную почву для их возникновения и развития. Этим и объясняется, между прочим, что все рассказы о случаях явления призраков и о целых фантазмагорических событиях неизменно приурочиваются к развалинам, необитаемым замкам, погребам и склепам. Иногда, впрочем, микробы переносятся и в жилые помещения, где могут и получить развитие, если только найдут благоприятные условия для последнего. Под влиянием некоторых видов дезинфицирующих веществ, далеко, впрочем, не всех, а особенно с притоком безукоризненно чистого воздуха, развитие галлюцинационных микробов прекращается, хотя окончательное и совершенное их уничтожение представляет задачу довольно трудную. Несколько часов, а в иных случаях и минут, проведенных в атмосфере, насыщенной этими микроорганизмами, производят в человеке род отравления, которое выражается лихорадочным состоянием, нервным возбуждением и бредом. Отличительное свойство этого отравления заключается в вызываемых им разнообразнейших галлюцинациях сначала слуха, потом зрения, а в иных случаях — и осязания. Галлюцинаций обоняния и вкуса не бывает. Крайнее возбуждение нервной системы может быть иногда причиной смерти. Галлюцинации имеют исключительно тяжелый и мрачный характер. Призраки являются блед-

ными, страшными, окровавленными. Звуки, которые слышит галлюцинат, носят такой же печальный характер — стоны, рыданий, звона и гроыханья цепей. Такие оттенки галлюцинаций обуславливаются, главным образом, предварительным настроением отравившегося вдыханием микробов, а также и унылым, сумрачным видом помещений, в которых они происходят. Само собой разумеется, что степень нервности субъекта, подвергающегося отравлению микробами, а также степень его развития, сила самообладания, его темперамент, то или другое расположение духа в данный момент, — все это дает свои оттенки явлениям отравления. В общих чертах, однако, картина отравления галлюцинационными микробами почти одна и та же как у каждой отдельной личности в различных случаях отравления, так и у различных лиц, отравляемых микробами и сравниваемых между собою.

V.

В таком, приблизительно, виде представлялись главные положения новой теории, которой он, Кошунский, должен был сделать шах и мат всему сверхъестественному. Целая литература фантастического, средневековые предания, мрачная поэзия призраков, целый мир фантазии, все это должно будет преклониться пред микробами Кошунского, демонстрировавшего человеческим глазам то, что хотела скрыть от них природа.

Кошунский, полузакрыв глаза, мысленно приводил в систему свое учение, еще бесформенное, расплывающееся и не заключенное в рамки научной доказательности и логической последовательности.

Ничто не мешало усиленной работе его головы. Тишина, нарушенная однажды коротким треском, не прерывалась ни одним звуком. Казалось, эта тишина проникала в организм человека и наполняла его холодным, безразличным спокойствием. Это было почти абсолютное безмолвие, заставлявшее прислушиваться к себе. Действительно, тишину можно слышать, как звуки, и если прислушаться к ней, то нетрудно услышать тихий, размеренный шепот, о котором существует выражение: «шепчет тишина» и который объясняется приливами и движением крови.

Такая безусловная тишь стояла в разоренном кабинете как бы для того, чтобы ярче и резче подчеркнуть страшный шум и треск, пронесшийся внезапно около самого кресла, на котором сидел Кошунский и заставивший его бессознательно отодвинуться назад, вместе с тяжелым сиденьем.

— Ого! — скорее подумал, чем произнес молодой исследователь, овладевая собою. — Сегодня галлюцинации выражаются очень ярко. Впрочем, это вполне естественно, потому что у меня не в порядке желудок, а моя маленькая лихорадка — чистая находка для моих воспитанников — микробов.

Точно такой же шум, похожий на порыв осеннего ветра, не производившего, однако, ни малейшего колебания воздуха, пронесся во второй раз, несколько тише и дальше от места, занимаемого Кошунским.

— Самообладание действует и на этот раз, как всегда, — сказал он. — Шум, заставший меня врасплох, казался для меня более сильным и близким, чем этот второй порыв, к которому я успел приготовиться и сосредоточить свое внимание. Так и запишем.

И Кошунский снова стал выводить строки своим бисерным почерком.

«Пять минут двенадцатого. Те же самые — комната, место и положение. Продолжительность пребывания в комнате 40 мин. 20 сек. Термометр 5,1° по R. (на 0,2° больше, что следует приписать горению свеч). Пульс несколько ускорен. Продолжаются галлюцинации слуха. Маленькое нервное возбуждение, выражающееся едва заметной дрожью и, как бы, инстинктивным желанием поместиться таким образом, чтобы сзади, за спиной, была сплошная стена, а не пустое пространство. Желание — как бы стратегического свойства — видеть опасность перед собой, а не пускать ее за свою спину. (Сравнить с одним из весьма характерных симптомов нейрастении — с боязнью пространства, в различных проявлениях этой боязни)... Что касается до проявлений...»

Работа Кошунского была прервана самым неожиданным образом. Двери, ведущие в соседнюю комнату, отворились с треском и почти грохотом и открыли зияющую темноту следующей комнаты.

Кошунский встал с места, потянулся и неторопливо направился к этой распахнутой на обе половинки, с вылинявшей краской, двери.

Когда он подошел к ней почти в упор и протянул руку, то рука эта встретила холодную и несколько сырую поверхность дерева.

— То-то и есть! — прошептал доктор. — Я всегда знал, что осязание служит человеку вернее, чем зрение. Наш зрительный аппарат слишком нежен и избалован... Надо, однако, принять меры...

Кошунский снова вернулся к письменному столу, взял склянку с нюхательной солью и поднес ее к носу.

Вдыхая в себя крепкие испарения соли, он не сводил глаз с двери, которая казалась теперь опять отворенной. Чудилось, что, всмотревшись внимательно,

можно было разглядеть предметы, находившиеся в той комнате.

Тем не менее, действие нюхательной соли обнаружилось очень быстро. Как только доктор смахнул слезы, выступившие на глаза от усиленного вдыхания, он снова увидел дверь запертой.

— То-то и есть! — повторил он еще раз, как бы торжествуя победу материального над сверхъестественным.

Торжество его было, однако, непродолжительно.

Едва он снова сел в уютное, широкое кресло и наклонился над своей записной тетрадью, чтобы занести в нее описание победы нюхательной соли над игрой одурманенного воображения, как что-то, пришедшее извне, заставило его поднять глаза. Была минута, когда он боролся с собой и, с величайшим усилием воли, смотрел, не видя, на исписанные страницы тетради. Но одного мгновения, в течение которого он ослабил свое напряжение, было достаточно, чтобы он поднял глаза.

По другой стороне стола, в полутора аршинах от него, живого существа из плоти и крови, сидел странный фантом.

VI.

Это была реальнейшая на вид и ярко освещенная свечами фигура маленького и сухощавого старика, одетого в бархатный халат коричневого цвета и старомодного покроя. Лицо старика поражало своим безжизненным цветом. — Анемия, — тотчас же отозвался в мозгу Кошунского доктор. Толстые, чувственные губы старика были совершенно бескровны. Старческие,

слезящиеся, но еще довольно живые глаза призрака смотрели прямо и не мигая на Кошунского.

Творец новой теории призвал на помощь все свое самообладание, и оно не изменило ему и на этот раз.

— Не можете ли вы мне сказать, каким образом вы здесь очутились? — внезапно спросил Кошунский старика, и несколько хриплый голос его прозвучал странными нотами в мертвой тишине опустелого дома.

Старик добродушно улыбнулся.

— А что вы скажете, — продолжал Кошунский, постепенно овладевая собою, — если я немножко дезинфицирую вас вот этой жидкостью... — и при этих словах он направил на старика устье пульверизатора, крепко нажав гуттаперчевый шарик. Распыленная жидкость опрыскала всю верхнюю часть фигуры.

Фантом с недовольным видом отряхнул лацканы своего халата, пожевал губами и неожиданно произнес:

— Вы противоречите своей теории.

Любопытство доктора взяло верх над его смущением и страхом; он облокотился обеими руками на стол, чтобы быть ближе к старику, и спросил:

— Каким образом?

— Ведь вы знаете, что я — не что иное, как призрак вашей же собственной фантазии. Зачем же вы, в таком случае, опрыскиваете *меня* этой гадостью? Вы должны действовать не на меня, а на себя, на свою нервную систему и, по возможности, парализовать действие микробов на ваш мозг.

Кошунский усмехнулся и произнес:

— Совершенно верно-с. Нет никакого сомнения, что вы не что иное, как порождение моей собственной фантазии, отравленной специальными миазмами этого старого сарая. И не подумайте, пожалуйста, что я говорю теперь с вами. Я говорю сам с собой, и говорю

вслух только для того, чтобы яснее формулировать свои несколько сбивающиеся мысли. Что касается ваших речей, то они, в свою очередь, не что иное, как мои собственные мысли. А так как я одержим теперь галлюцинациями, то они и представляются мне мыслями, высказываемыми вами. Все это ясно, как Божий день. И если я закачу себе, к затылку, хороший горчичник, который меня покрепче нациплет, то ваш визит продолжится, вероятно, очень недолго.

И Кошунский быстрым движением перегнул влажный листок горчичной бумаги и положил его себе на затылок.

— А если к этому прибавить еще несколько гранов хинина, то наше знакомство с вами и подавно прервется надолго.

Старик не ответил по-прежнему и саркастически наблюдал, как молодой доктор систематически глотал пилюли, а потом сделал несколько вдохов какого-то спирта, которым, кроме того, смочил себе лоб и виски.

— У вас очень богатый арсенал средств для борьбы с привидениями, — иронически сказала фантастическая фигура, прерывая свое молчание. — Но ваша настоящая сила заключается не в этих порошках, пилюлях и склянках... Вы, вероятно, упустили из виду, что ваши галлюцинации, как вы их называете, могут явиться в такой форме, которая лишит вас возможности прибегать к употреблению всей этой дряни...

— В моем арсенале есть кое-что и получше! — сказал доктор, который казался опьяневшим, накладывая руку на лежавший перед ним револьвер.

Старик засмеялся. Сухая фигура его долго тряслась и колебалась в порывах беззвучного смеха.

— Ваши пилюли и горчичники не действуют! — воскликнул он наконец. — Вы все еще не можете соб-

ратся с мыслями. Вам должно быть хорошо известно, что ваше оружие совершенно безвредно для призрака. Оно может быть опасным только для вас, если...

— Если им воспользуется сам призрак против меня? Вы это хотите сказать, не правда ли? — закончил речь фантома доктор, казавшийся теперь очень оживленным и даже веселым.

— Вовсе нет, — отвечал призрак. — Для этого привидению пришлось бы нажать курок, т. е. выказать материальную силу, а это, по вашей теории, совершенно невозможно для того, что не существует, а создано лишь бредом горячечного воображения. Оружие опасно для вас потому, что под влиянием галлюцинации, вы сами можете уставить дуло револьвера в свой рот или в висок...

Кошунский крепко сжал голову руками, как бы для того, чтобы пробудить в ней способность мыслить и обсудить эти саркастические, холодные речи призрака.

— Что касается нас, «порождений больной или отравленной фантазии», как вы говорите, то мы владеем тысячью средств показать свое могущество. Так, например, я мог бы заледенить вашу кровь ужасами, о которых не имеет понятия ничто живущее на земле. Я мог бы заставить разорваться ваше сердце при виде ничтожной части того, что делается в пределах видимого мира. Я мог бы населить ваш мозг такими идеями, от которых мгновенно седеют волосы и бежит сила, одухотворяющая ваш бранный и ничтожный организм.

Призрак говорил и, одновременно с его речами, заброшенный кабинет, казалось, оживал и населялся. В одном из углов комнаты, в мерцающем свете нагоревших свеч, клубились и волновались какие-то смутные

и неопределенные очертания нескольких нагих, но безжизненных человеческих тел, нагроможденных грудой и, казалось, извивавшихся в какой-то кровопролитной схватке или смертельной агонии. Свечи, стоявшие на окнах, погасли почти моментально, как бы от порыва сильного ветра, и фосфорический свет, вкравшийся извне, освещал гнусную и омерзительную сцену насилия, совершаемого дряхлым и отвратительным стариком над бледной, скелетообразной девочкой-ребенком. Фантастические тени темнели и стучались; они надвигались к письменному столу, росли и умножались. Страшнее всего казались смутные шорохи и тысяча дыханий, раздававшихся за спиной Кошунского. Мрачный кабинет продолжал наполняться странными и ужасными порождениями горячечного бреда и уже становился для них слишком тесным. В книжных шкафах, под вязанкой дров, наконец, под столом, у самых ног доктора, копошилось что-то бесформенное, отвратительное и ужасное. Это была какая-то оргия привидений, о которой не может дать даже приблизительного представления самое точное и самое художественное описание, как не может оно дать понятия о смутном и таинственном сновидении.

Кошунский был поражен не столько смущением или страхом, сколько сознанием своего физического бессилия и неподвижности. Руки его, будто пораженные параличом, лежали вдоль тела; голова, против воли, упала на грудь, и вся жизнь, казалось, ушла в зрение и слух, чтобы видеть и слышать все, что происходит и, главное, что произойдет в этом мрачном доме, в такой ужасной степени зараженном микробами.

VII.

— Микробы!

Это слово мгновенно возвратило ему всю физическую и нравственную бодрость. В нем, в этом слове, заключалась его теория; оно должно было заставить прогреметь его имя и завершить его карьеру. Что значила, что могла значить вся эта театральная, балаганная чертовщина, этот бред больной головы, опьяненной вдыханием плесени и гнили, перед блестящей карьерой там, в шумном богатом городе, на виду всех сверстников и товарищей по науке, в пышных салонах и изукрашенных будуарах, среди женщин, славы, наслаждений, среди всего, что покупается так дорого и для чего нужны деньги, нужна карьера!

И Кошунский выпрямился с силой и гибкостью стальной полосы. Призраки окружали его сплошной стеной; холодное дыхание их охватывало его со всех сторон. По спине неслись холодные токи; глаза застилало темное облако; дыхание прерывалось. Еще несколько секунд — и он мог бы лишиться сознания, отдать себя этой страшной толпе и унести в ее мир таинственных ужасов.

В приливе чрезвычайного нервного возбуждения, поднявшего на голове его дыбом волосы, Кошунский схватил со стола сверток проволоки магния, зажег эту проволоку на огне свечи и в то же самое время, схватив свободной рукой ланцет, сделал глубокий разрез на руке, державшей проволоку.

Магний вспыхнул ярким, совершенно электрическим по силе и чистоте светом и, почти одновременно, из руки, державшей проволоку, брызнула струя крови, сначала темной, почти черной, но делавшейся все ярче и алее.

Белый, ослепительный свет ярко озарил пустую комнату, в отдаленных углах которой расплывались какие-то дымки и неслись, исчезая в скважинах дверей и окон, голубоватые, будто дымные, струйки. Только одна фигура оставалась на своем месте — фигура старика в коричневом бархатном халате.

Кровь лилась из вскрытой руки доктора тонкой, но непрерывной струей и, с каждым новым мгновением, стихал шум и звон, раздававшийся в его ушах, прояснялись глаза и освобождалось спертое дыхание.

— Теперь немножко свежего воздуха, и отравление излечено, — сказал доктор ясным и твердым голосом. — Кстати, я замечаю, — прибавил он, обращаясь к фигуре старика в халате, — что вы тоже теряете свой цвет и определенность очертаний.

С этими словами Кощунский встал из-за стола и направился к окну, с очевидным намерением открыть его. Дойдя до половины комнаты, он, как бы передумав, вернулся назад.

— Еще один, последний опыт! — сказал он, обращаясь к сидевшей у стола фигуре, очертания и цвета которой были уже не так яркие и резки, как прежде. — Я надеюсь, что вы не посетуете, если я пойду к окну через вас или, вернее, сквозь вас. Как призраку, вам это не будет чувствительно, а для меня это — немалая победа над своими нервами, которые, впрочем, уже почти окрепли.

И он, действительно, твердой поступью пошел прямо на старика. Пройти «сквозь» него ему, однако, не удалось, так как странный фантом мгновенно исчез пред ним и снова возник или материализировался за его спиной.

Кощунский распахнул окно, вдохнул несколько глотков свежего воздуха и, возвращаясь назад, снова увидел знакомое привидение.

— Ну, все равно, — сказал он. — Вы и так пробудете здесь недолго... И вообще, я очень жалею, что вы — лишь призрак моего воображения... и не можете отдать справедливости моей силе и моей теории!

Произнеся эти слова, молодой доктор занялся перевязкой своей пораненной руки. Фигура бледнела и теряла свою кажущуюся осязаемость. Мнимая жизнь ее сверкала лишь в старческих, углубленных глазах.

— О, нет... я могу отдать справедливость и вашей силе, и вашей теории, — заговорил фантом слабым голосом, звуки которого так же угасали, как угасала вся его фигура. — Ваша сила есть, в то же время, ваше бессилие. Что касается вашей теории, то она может показаться новой лишь немногим. Для вас она также не может считаться новой. Она составляет лишь продолжение тех теорий, на которых построено все ваше существование, нравственное и материальное... Вы стремитесь подчинить рассудку то, что *должно* быть выше его. На все случаи жизни, на всякие движения сердца у вас есть в запасе готовые теории: для чувства любви, для каждого биения сердца, для всякого честного и молодого порыва, для всего на свете. Да, у вас найдется холодная теория, нагло и грубо освещающая и материнскую нежность, и беззаветную страсть молодости, и героическое самопожертвование, и благородную гордость, и горячий патриотизм. Вы, тридцатилетний мудрец, хотите получить от жизни то, что она дает человеку только в глубокой старости, — уверенность опыта и холод рассудка, и в этом заключается ваше бессилие. Вы, холодный эгоист, стремитесь подчинить нравственное существование идее материального, и в этом заключается ваше наказание!

Фигуры старика в комнате больше не было, хотя последние слова еще звучали в воздухе. В окно врывался холодный ночной ветер. На дворе начинало мо-

розить. Кощунский вышел из задумчивости и осмотрелся кругом.

— Кончилось, — сказал он со вздохом облегчения. — Галлюцинации кончились. Моя теория совершенно верна: все дело заключается в отравлении организма миазмами покинутых зданий. Половина второго. Теперь — домой, за работу.

Он методически собрал свои вещи, погасил свечи, зажег фонарь и отправился в обратный путь, аккуратно заперев двери запустелого дома, столь обильно зараженного «микробами галлюцинаций».

Проходя по двору, он зашел в сторожку дворника. Неторопливо сняв с двери висячий замок и найдя сторожа спящим тяжелым, лихорадочным сном, он положил на стол несколько мелких кредитных билетов, вместе с железным замком.

У забора уже стояла его карета, и доктор Кощунский отправился домой записывать свои наблюдения на сеанс № 51.

VIII.

Со времени странного вечера, проведенного доктором Кощунским в доме, зараженном микробами, прошло не более двух недель, хотя число, обозначающее год, писалось уже с иной цифрой на конце. Молодой человек безвыходно сидел в своей роскошной квартире, совершенно позабыв поддерживать свои «связи», которым придавал обыкновенно такое большое значение, и постепенно теряя своих многочисленных великосветских клиентов. Своей красавице-невесте, дочери одного из тех богачей, имена которых известны в России наперечет, он послал извещение о своем не-

здоровье, которым он хочет воспользоваться, чтобы привести в порядок свой новый труд.

«Произведение это, — писал он девушке, которая его боготворила и перед которой он давно перестал стесняться в выражении своих замыслов, — должно завершить то здание, на постройку которого я положил все силы моей души. Оно должно сделать имя вашего будущего мужа и, стало быть, ваше имя известным во всех уголках этой маленькой частицы мироздания, которая называется «землею» и которую я считаю слишком малой, чтобы вместить в себе чувство моего честолюбия. Вы знаете, впрочем, — добавлял он мимоходом, — что мое честолюбие, моя гордость, сознание силы — все это имеет источником другое, более чистое и возвышенное чувство — моей любви к вам».

Кошунский, действительно, был занят приведением в порядок своих многочисленных набросков и справок, перечитыванием источников и обработкой положений, долженствующих войти в его обширный и оригинальный труд под названием «Фантасмоскопия»^{*}.

Однажды, — это было в один из вечеров, относящихся ко времени «святков», ко времени, как известно, полному странной таинственности и фантастической поэзии, — молодой доктор сидел в своем кабинете, за письменным столом, совершенно заваленным книгами, тетрадями, заметками на мелких клочках бумаги и целыми кипами исписанных листов. Сюда, в этот роскошный кабинет, застланный пушистыми коврами и завешанный толстыми бархатными портьерами, не проникало ни одного звука уличной суматохи, веселого шума и праздничного оживления.

^{*} Фантасмоскопия — болезнь, при которой захворавший видит привидения и призраки (*Прим. авт.*).

Кошунский работал с чрезвычайной сосредоточенностью и вниманием. Каждое слово, готовое перейти с острия его пера на белый лист бумаги, он выбирал и взвешивал, как ювелир взвешивает и сортирует алмазы. Каждое положение он иллюстрировал цитатами, ссылками и указаниями и каждую страницу трактата — блестящими афоризмами, остроумными примерами и оригинальными сравнениями.

За этой работой, в которой яркое дарование вошло в союз с упорным трудолюбием, он просидел около шести часов, не поднимаясь с места. Утомленный работой и обессиленный нервным возбуждением, он расправил свои онемелые члены и, оторвав глаза от исписанных листов бумаги, устремил беспредметный взор на противоположную стену.

На этой стене, в вычурной, резной раме черного дерева, висел великолепный портрет Кошунского, писанный художником, имя которого произносилось в то время, как синоним гениальности. Портрет отличался чрезвычайной жизненностью лица и фигуры.

В безразличной полутьме огромного кабинета, Кошунский-нарисованный казался живее Кошунского-оригинала.

Казалось, в этой комнате находилось два человека. У обоих лица смотрели с одинаковым выражением усталости в прекрасных глазах. Крепко сжатые губы имели одно и то же выражение уверенности и непреклонной решимости у обоих, и характерный подбородок, выражающий твердую волю у одного, повторялся в мельчайших чертах у другого.

Кошунский смотрел на портрет сначала рассеянно, но потом стал рассматривать его со вниманием, возраставшим все больше и больше.

— Что это? — воскликнул он, наконец. — Игра воображения? Привычка галлюцинировать? О, это было

бы уже слишком, — прибавил он, содрогаясь. — Или, может быть, таскаясь по зараженным домам, я занес и сюда отравляющие организмы.

Он устремил на портрет взгляд, которым, казалось, спрашивал ответа у своего изображения.

— О, это вздор... это чистейший вздор! — вскричал он. — Портрет отличается поразительным сходством: мне прожужжали все уши, удивляясь этому сходству... Но каким же образом может стареть лицо, нарисованное на полотне масляными красками?!.. Если бы даже в последние два года я и успел постареть, то мой портрет, все-таки, должен сохранить прежнюю молодость... Откуда же эти впалые, тусклые глаза? Отчего легло на это лицо выражение такой апатии, такой холодной и пассивной покорности?.. И где же свежесть красок, так удачно передававших блеск моих глаз? Каким образом мог заостриться этот нос и побледнеть губы?

Сильной рукой Кощунский схватил со стола большой канделябр с пятью свечами и поднес его к полотну.

— Я галлюцинирую, — прошептал он со страхом. — Я галлюцинирую здесь, в своем кабинете, при полном отсутствии условий для галлюцинации. Я вижу... я до осязаемости вижу целую сеть мелких морщин... вот, здесь, вокруг глаз... и эти две глубокие морщины около губ... Ведь это — лицо шестидесятилетнего старика. Знакомое лицо, но не мое... Оно не может быть моим ни в каком случае!.. Это — воплощение старости, с ее бессилием, злобою, завистью... Все, все, что угодно судьбе, только не старость, не слабость тела, не угасание ума!

Доктор Кощунский совсем не походил теперь на того Кощунского, который был полон сознанием своей нравственной силы и исполнен отрицанием всего, что не может быть объяснено естественным и научным пу-

тем. Теперь он не чувствовал под собой почвы, которую давала ему его теория, и отступал перед призраками, которых вызывал прежде с таким безусловным спокойствием. На лицо его лег оттенок бури, бушевавшей в его душе. Глаза ввалились почти моментально. Вокруг рта легли глубокие морщины. Краски мгновенно сбежали с его лица, и особенно резко выделилась на нем белая черта бледных, бескровных губ.

В это время Кошунский подошел к зеркалу и осветил канделябром искривленное страхом лицо, на этот раз лицо оригинала, а не портрета.

— Это — галлюцинация! — шептал он лихорадочным голосом. — Мне некогда было постареть... И, к тому же, я должен сделать еще слишком, слишком многое... О, я еще успею!.. Молодость — это сила, успех, влияние... а старость — забвение, слабость, вымороженность... И этому успеху я принес в жертву слишком многое. Я отдал ему все идеалы, все стремления молодости, все движения порабощенного сердца... Я еще успею довершить свое дело до конца... И успех не оставит своего жреца!..

Кошунский снова уселся за свой письменный стол.

— Я слишком заработался и мне следовало бы отдохнуть. Однако, было бы нелепо не воспользоваться этим странным приключением. Необходимо описать его, попытаться сделать анализ... О, я сумею проанализировать эти новые для меня ощущения лихорадочного, беспричинного страха и разобраться в хаосе этих ужасных мыслей.

Бледный, с прилипшими ко лбу, мокрыми от нота волосами, Кошунский принялся за работу, трясясь, вздрагивая и стуча зубами от ощущения внутреннего холода, источником которого могла служить столько же лихорадка, сколько ощущение смертельного страха.

IX.

Все следующее утро двери кабинета в квартире доктора Кошунского были заперты изнутри. Часовая стрелка приближалась уже к цифре 11, а двери не открывались. На осторожные и почтительные оклики в кабинете никто не отзывался. Многочисленная и великолепно выдержанная прислуга доктора, после продолжительного совещания сначала между собой, а потом и с посторонними, решилась дать знать, кому следует, что у них в квартире совершилось что-то недоброе. Прошел еще час. На громкие крики и стук в двери по-прежнему не было никакого ответа. Тогда двери были выломаны.

В кабинете нашли целые вороха исписанных листов и отдельных клочков бумаги. По столам были разбросаны книги. Все остальное в комнате находилось в порядке. Хозяина кабинета в нем не было.

Очевидно, в квартире доктора не случилось ничего особенного. Нельзя было заподозрить здесь какого-либо преступления и, тем менее, самоубийства. Довольно большие суммы денег лежали незапертыми в ящиках бюро; драгоценные вещи также находились в полной сохранности; даже платье, в том числе все теплые и меховые вещи, находилось на своих местах; мебель и вся великолепная, снабженная тысячью мелочных украшений, обстановка была в полном порядке и не носила следов какого-либо особенного движения в комнате. Мысль о самоубийстве совершенно исключалась отсутствием всяких признаков этого последнего акта человеческой драмы. Не находилось ни писем, ни записок, ни завещания, не говоря уже об отсутствии трупа; при том же все наличное оружие доктора Кошунского, по удостоверению всей прислуги,

находилось на своих обычных местах. Словом, и в кабинете, и во всей квартире все было в безусловном порядке; не могли найти только владельца этой квартиры.

Совершенно невозможно было предположить, чтобы доктор незаметным образом вышел из дома, так как дверь кабинета была заперта *изнутри*; квартира Кошунского находилась к тому же в третьем этаже, и он не мог выйти из нее иначе, как в двери. Окна кабинета имели двойные рамы и не носили никаких следов повреждений.

Одним словом, Кошунского в его квартире не было, и оставалось ожидать его «возвращения», если только может возвратиться тот, кто никуда не уходил и никуда не отлучался.

Было решено при этом не поднимать напрасных тревог, хотя и стараться собрать какие-нибудь сведения о молодом докторе и его столь странном исчезновении.

Прошло несколько дней, но Кошунский не возвращался. Тревога разнеслась по огромному городу и породила самые чудовищные слухи. Точные и разносторонние справки не выясняли ровно ничего, сколько-нибудь заслуживающего внимания.

В городе, между тем, продолжали циркулировать самые нелепые толки: говорили о бегстве Кошунского за границу, о его самоубийстве, совершенном в припадке отчаяния, когда он убедился, что его теория его обманула; говорили, что он заключен в дом сумасшедших своими братьями по науке, которые завидовали его талантливости и его житейским успехам, а особенно не могли простить ему его новых открытий, подкапывавших все старое здание их науки.

Само собой разумеется, что все эти рассказы не имели ни одной черты правдоподобия. Слухи о стран-

ном исчезновении доктора Кощунского дошли и до простого народа, и этот простой, бесхитростный люд вряд ли был очень далек от истины, когда старики говорили, покачивая своими седыми головами:

— Пропал! Не умер, не уехал, а пропал, да и все тут. Это бывает, что пропадают иногда люди. И никогда их больше не находят, ни живыми, ни мертвыми.

Очевидно, что старые люди соединяли со словом «пропал» какой-то особенный смысл, страшный и таинственный смысл исчезновения человека неведомым и неестественным путем, еще более ужасным, чем самая смерть.

Действительно, Кощунского больше не видели ни живым, ни мертвым.

Что касается пересказа этой «городской легенды», которыми шумные и оживленные города богаты не меньше темных лесов и горных ущелий, то пересказ этот сделан со слов людей, хорошо знававших доктора Кощунского, а также и на основании его заметок, впрочем, далеко не оконченных, смутных и сбивчивых.



ВОСПОМИНАНИЯ ПОКОЙНИКА

Я не буду описывать моей жизни уже потому, что она не поддается описанию. Довольно сказать, что я был счастлив до того, что мне даже становилось совестно. Это невольное чувство стыда напоминает мне ощущения игрока, когда судьба начинает дурачиться и самым нелепым образом позволяет, мало того, — принуждает, насильно заставляет обыгрывать всех окружающих его.

У меня была жена... Я говорю: была, — несмотря на то, что она до сих пор жива и здорова, но дело в том, что сам-то я... впрочем, об этом речь впереди.

Моя жена была святая женщина, отдавшая свое сердце, вместе с молодостью и красотой, мне, — а свои заботы, ум и досуги нашим детям.

Мои успехи на поприще служебной деятельности внушали зависть всем меня знавшим, а благовоспитанность моих детей была образцова. Я был счастлив даже в мелочах: мои начальники, здороваясь, подавали мне все пять пальцев, друзья никогда не занимали у меня денег, знакомые не приезжали без зова и не заставляли меня в халате. Кроме того, я счастливо играл на бирже, никогда не попадала мне в суп муха, и не случалось, чтобы шел дождь во время моей прогулки.

И вдруг...

Это случилось в пятницу, 16 декабря 188... года, день, который никогда не изгладится из моей памяти. Накануне, как теперь помню, я вернулся со службы домой, сытно пообедал, вкусно поцеловал Варю и, скоротав остальное время дружеским винтом, лег в пос-

тель для того, чтобы на следующее утро проснуться мертвым!... Т. е., я не совсем точно выразился, я уснул, чтобы больше не просыпаться... Мои впечатления живого человека заканчиваются, именно, этим винтом, в который я выиграл 2 р. 30 к., навсегда для меня потерянных; все же, что случилось со мною после, и составляет предмет моих настоящих записок.

Наступила пятница, 16 декабря. До меня донесся едва слышно, как будто бы издали, звук часов, которые пробили девять... Я чувствовал, что уже не сплю, но, тем не менее, никак не мог проснуться.

В моем воображении носились еще неясные, скомканные обрывки грез. В то время, когда я мысленно и, казалось, сквозь сон читал себе нотацию о пользе и далее необходимости раннего вставанья, до меня донесся громкий плеск воды. Это меня заинтересовало. Я хотел открыть глаза, но с удивлением заметил, что они уже открыты, так как веки были приподняты, хотя я ровно ничего не видел. Ужасная мысль о том, что я ослеп, промелькнула в моей голове. Я хотел закричать, но язык мне не повиновался и горло не издавало никакого звука. — Что это такое? — думал я. — Продолжение сна? — кошмар? Это не может быть сном, потому что я слишком хорошо сознаю свое положение. Может статься, паралич? — Я собирал все силы, чтобы приподняться, но мне не удалось пошевелить даже пальцем. В это время я почувствовал, как четыре дюжие руки очень неосторожно приподняли меня с постели и положили на холодный пол моей спальни. Я терялся в догадках и предположениях. Иногда мне казалось, что я сошел с ума. Между тем, четыре руки начали тереть мое тело жесткой мочалкой и поливать его теплой водой. Недоумение мое росло с каждой минутой. Меня причесали, одели в новую мундирную пару, о чем я догадался по стуку отпираемого

шкафа, в котором она находилась; перенесли в залу, где приподняли и положили на что-то жесткое. Это был стол, как я убедился впоследствии...

Таким образом, я понял весь ужас моего положения. Обмывают и кладут на стол только покойников, — следовательно, я умер! Я мысленно несколько раз повторил это слово — умер... Я умер! — И нашел, что оно звучит нелепо и странно. Этот глагол никак не может иметь формы первого лица единственного числа прошедшего времени. Можно сказать: умираю, умру, он умер, но я ум...

Я плюнул, мысленно, потому что по-прежнему не мог пошевелить ни одним мускулом.

Итак, я отвергал всякую возможность подобного приключения, тем более, что составил себе о смерти совершенно иное понятие. Однако, неподвижность тела, ощущение страшного холода в конечностях, полное отсутствие биения сердца, — все это приводило меня в крайнее недоумение.

В передней раздался звонок, потом я услышал шум шагов и голоса нескольких человек, между которыми я легко различил серебристый тенорок нашего приходского батюшки и октаву отца-дьякона.

— Дело дрянь! — подумал я совершенно искренне. — Значит, я действительно... Так вот что такое смерть! Я ожидал совсем другого!...

Я попробовал формулировать свое мнение о смерти, и у меня сложилось определение, приблизительно, следующее: «Нравственная сущность человека остается в прежнем, нормальном состоянии. Человек сохраняет способность мыслить и чувствовать, но тело его становится неподвижным, сердце перестает биться и все отправления организма прекращаются. Внешние чувства, как, напр., слух, сохраняют в известной степени свою деятельность, хотя, может быть,

только на время, так как я читал где-то, что последним в человеке умирает именно чувство слуха».

Пока я приводил, таким образом, в порядок свои новые ощущения и мирился с странной действительностью, небольшая гостиная моей уютной квартирки наполнялась народом. Шум голосов напоминал мне жужжание пчелиного роя и, к удивлению, вовсе не соответствовал печальной торжественности события своим мажорным, доходившим до веселости, тоном. Вокруг меня раздавались шуточки, остроты, прозрачные намеки на положение моей жены, оставшейся вдовой, а в ближайшем ко мне углу комнаты собрались пять или шесть человек моих бывших друзей и... разбирали мою земную деятельность. Я выразился так из присущей мне щекотливости; они просто-напросто злословили и клеветали на меня вперегонку, — благо, я лежал на столе и не мог пошевелить пальцем для своей защиты. Из их оживленных толков я узнал много для меня нового и очень мало лестного. Оказалось, например, что моими успехами по службе я обязан моей пронырливости, низкопоклонничеству и еще чему-то, о чем они заговорили шепотом; мое относительное благосостояние являлось результатом... Я никак не могу приноровиться к их сжатым, но выразительным определениям, вроде: нахальство, низость и т. п., поэтому скажу: являлось результатом гибкости моих убеждений. Даже сама моя смерть была приписана последствиям горького пьянства, и все единодушно решили, что общество ровно ничего не потеряло, лишившись такого члена, как я.

В моих мыслях мелькал уже проект жалобы мировому об оскорблении на словах; я даже совершенно забыл, что уже умер...

Припадок раздражения, тем более сильного, что я ничем не мог его выразить, заставил меня, если толь-

ко я не ошибаюсь, покраснеть. Мне было стыдно за них, моих душевных друзей. Казалось, еще немного, и я нашел бы в себе силы подняться со стола и расплатиться с ними за непрошенное составление моего некролога. Когда я стал несколько успокаиваться и кровь отлила от моего лица, ко мне внезапно и неожиданно вернулось чувство зренья. Я стал сомневаться в моей смерти и тут же (такова уж натура человека!) в самом потаенном уголке моего сердца зародилась мысль о мщении.

Как бы то ни было, я стал видеть. Картина, которая представилась моим глазам, была странна и своеобразна. Было светло; в воздухе носились густые облака дыма от ладана (обоняние мое оставалось парализованным). Сквозь опущенные шторы пробивались яркие лучи зимнего солнца. Комната была полна народа; я увидел моих друзей с притворным выражением грусти на лицах, подчиненных с видом какой-то странной, боязливой независимости, целый ряд дам в траурных платьях, несколько специалистов похоронного дела, в лице читателей и гробовщиков, какие-то совершенно незнакомые мне личности... А я, печальный герой события, я лежал посреди них и всеми силами души удивлялся экстренности этого события.

В комнате не было ни моей жены, ни детей. При мысли о жгучей горе моей Вари, о страхе и недоумении малюток, мое сердце мучительно сжалось. Хотелось верить в благоприятный исход невероятного приключения.

В то время, когда я предавался надеждам, в зале послышался сдержанный шепот. Прямо против меня находилась входная дверь, и я увидел его п-во, моего непосредственного начальника. Он был встревожен и бледен. Очевидно, его смутила скоропостижность моей

кончины. Не отвечая на поклоны и приветствия окружавших, он как-то боком прошел мимо меня, искоса взглянул на стол и с достоинством кивнул моему телу головою. Он сделал это с таким же важным видом, как и в то время, когда я имел удовольствие состоять еще его подчиненным. Его п-во никогда не любил излишней фамильярности.

Общество сгруппировалось в отдельные кружки. Старики покачивали головами и говорили: «так-то... думал ли кто-нибудь... вот и мы также...» Молодежь вела оживленные разговоры и, казалось, забыла уже обо мне.

А между тем, я не хотел умирать. Мне было досадно равнодушие окружавших. Кроме того, я не хотел быть причиной горя для своих родных. Это были тяжелые ощущения, но впереди ожидали меня испытания еще более печальные и непредвиденные.

Панихида кончилась, и все присутствовавшие, прибавив каждый еще две-три черты для обрисовки моего характера и моих наклонностей, стали разъезжаться. Я мог, наконец, остаться наедине с своей семьей.

Запоздали уходом только его п-во и некто Александр Иванович, мой закадычный товарищ, друг моего дома, в лучшем и чистейшем смысле этого слова.

На досуге я внимательным, хотя и неподвижным взглядом, рассматривал того и другого. Его п-во, но случаю экстренности события, был во фраке, украшенном звездами; на старческом, дряблом лице его лежал тонкий слой пудры, придававший ему ту бледность, которая удивила меня при первом взгляде.

Очевидно, добрый старичок хотел почтить мою память хоть этим искусственным признаком печали и, огорченный людским недоброжелательством, я от всей души был ему благодарен за это.

Александр Иванович делал, между тем, различные распоряжения относительно скорейшего помещения моей персоны в гроб. Он торговался с гробовщиками, назначал число факельщиков, писал оповещения о моей смерти для публикации в газетах и, по-видимому, был очень доволен своим назначением, хотя и старался, как мне казалось, поскорее отделаться от меня. Александр Иванович был одет в мою новую сюртучную пару; я узнал ее по шелковой подкладке сюртука; на жилете его красовалась моя толстая, золотая цепь. Это показалось мне несколько странным; но я не имел времени думать о таких пустяках, — меня беспокоило отсутствие Вари.

Она вошла в комнату. На ней было роскошное траурное платье; ее красота была обаятельнее, чем когда-нибудь. Я чуть не щелкнул языком от удовольствия, что обладаю привязанностью такой восхитительной женщины, вторично забыв, что я не могу не только «обладать» чем бы то ни было, но даже сделать очень простую вещь — щелкнуть языком.

— М-г Alexandre, можно войти? — спросила Варя, кокетливо останавливаясь на пороге комнаты.

— Да, да, — отвечал тот. — Князь давно ждет вас. Где вы так долго были? Я уже должен был сказать гостям, что вы захворали от огорчения и что у вас постоянные обмороки.

Варя в это время раскланивалась с его п-вом.

— Тем лучше, — щебетала она. — Я, действительно, не переносу всех этих неприятных формальностей. Кроме того, столько хлопот с трауром.

Варя грациозно опустилась в кресло; его п-во поместился рядом с ней, а Александр Иванович исчез, испарился, растаял, — словом, скрылся до того незаметно, что я даже удивился. Да и вообще, день моей смерти был для меня днем удивления. Я, например,

никогда не ожидал от Вари такой твердости характера. Она прекрасно маскировала свое горе, не желая выказывать его перед посторонними.

— Итак, Вавочка, — сказала она, поворачиваясь к его п-ву, — мы вступаем в новый фазис нашей жизни. Твоя Пумпуська совершенно неожиданно, но очень кстати, сделалась вдовою...

Вот тебе раз!

Наконец-то я убедился, что все, происходившее со мною, было глупым, хотя и очень продолжительным, сном. Я мог умирать, мог совершать путешествия в рай или ад, пожалуй, на луну, или к центру земли, могло случиться все, что угодно, но, чтобы моя Варя, идеал честной жены и заботливой матери, могла быть «Пумпуськой» кряхтящей развалины, это было слишком неправдоподобно и неестественно.

И я с величайшим хладнокровием приготовился смотреть и слушать продолжение моих нелепых грез.

Его п-во наклонился и, кряхтя, целовал маленькие ручки Вари.

— Ну, это потом, — сказала она. — Сидите смирно. Прежде всего — дела. Вы понимаете, что меня беспокоит мое новое положение?

— Что же может беспокоить тебя, мой ангел? — говорил князь. — Ты знаешь, я всегда готов обеспечить твою будущность...

— Это я уже слышала, но этого не будет. Моим детям нужен отец, а мне муж; поэтому я не останусь неприступной вдовицей, а выйду замуж. Беда в том, что тот, на ком я остановила свой выбор, небогат... Я предлагаю вам, чтобы все оставалось по-старому. Мой будущий муж будет вашим протеже, так же, как бедный Жан, а я... я буду, по-прежнему, вашей Пумпуськой. Согласны?

Честное слово, сон становился слишком оскорбительным, и я снова стал напрягать все усилия воли, все свои заснувшие физические силы, чтобы пробудиться.

— Ну, — сказал князь, — об этом после... а теперь... та раголе, меня утомила... вся эта торжественность... Я мечтаю о минуте отдыха. Как к тебе идет этот траур...

В дверях показался Александр Иванович, но, увидя интимную позу его п-ва, сейчас же исчез.

— Вот, — думал я, — еще одно доказательство, что все это не больше, как сон. Разве может исчезать наяву, таким незаметным образом, живой человек?

Его п-во скоро откланялся и уехал, по-прежнему снисходительно кивнув головой в мою сторону. Очевидно, воображение мое уставало работать в одном направлении, и нелепый сон приближался к концу.

— Теперь за дело, — воскликнул Александр Иванович, проведив последнего гостя и оставшись наедине с Варей. — Вечером нам предстоит много хлопот, а теперь надо посмотреть, на что ты можешь рассчитывать в первое время...

Он также был с Варей «на ты». Я окончательно убедился, что мои грезы были вариациями на одну и ту же тему: неверность моей жены.

— Нам нечего беспокоиться, милый, — сказала она. — Князь обещал протезировать моему будущему мужу. Понимаешь? Ведь ты ничего не имеешь против этого? Ты у меня умный...

И она поднялась на цыпочки, чтобы подставить ему для поцелуя свой прекрасный, почти девственный лоб. Александр Иванович тихонько отстранил ее, вынул из кармана два медных пятака и, подойдя ко мне, благоговейно перекрестился, положив на мои веки холодные монеты.

Когда же раздался ласковый шепот, когда я услышал звуки поцелуев, я не мог больше сдержать моих ощущений. У меня закружилась голова, кровь прилила к сердцу.

Смутно, как сквозь сон, помню, что я ринулся, что-то ломал, кого-то бил...

Я очнулся в вольтеровском кресле. В одной руке у меня была моя толстая золотая цепь, а в другой — клок чьих-то волос...

Доктор объявил, что у меня была летаргия.

Летаргия?!

Печальная ирония судьбы. Я умер тогда, когда мне хотелось жить, и живу, когда хотелось бы умереть.

Похоронив все мои верования, упования, иллюзии, зачем не похоронили они и меня самого!

Может быть, ждать придется еще долго, но я жду.

.



ТРИНАДЦАТЬ СЕАНСОВ ЭФИРИЗАЦИИ

В большой комнате, слабо освещенной мерцающим огоньком камина, сидело шесть человек.

Разговор незаметно склонился на фантастические темы. Говорили о предчувствиях, призраках, странных случайностях...

Таким образом начинаются тысячи рассказов, всем надоевших вследствие своего однообразия.

Один из собеседников зевнул во весь рот в самую патетическую минуту рассказа, когда призрак убитого в какой-то гостинице человека снимает с позвоночного столба свой череп и говорит, обращаясь к ночевавшей в той же самой гостинице, конечно, много лет спустя, графине, следующее:

— Я не кошмар, не бессмысленный сон, — я мщение! Велите завтра утром поднять пол в вашей комнате; там найдут мои кости. Меня убили... вероломно, предательски!

— Этакая глупость! — сказал соскучившийся слушатель: — и охота вам говорить про призраки в то время, когда...

— Когда что? — спросили другие.

— Когда, — с расстановкой продолжал говоривший, — в нас самих...

— О! В нас самих? Это опять из области психологии! Не надо. Сухо и скучно. Конечно, и в нас самих есть многое, о чем не смеет грезить мудрость, но все это слишком отвлеченно.

— Я — крайний реалист, вы это знаете; фантастика для меня — предмет бабьих рассказов и детских ска-

зок, но... я хочу рассказать вам случай из жизни Лагунина...

— Кстати, где он теперь? Говорили, уехал...

— Он в Петербурге; я его недавно видел.

— Где, где? Неужели! — живо заинтересовалось все общество.

— Об этом после... Я хотел рассказать вам, как в 1890 году, т. е. очень недавно, некто, нуждаясь в деньгах, продал дьяволу свою душу...

— О! — насмешливо сказал толстый доктор: — и что же? Получил деньги?

— Получил! — с странной, но очевидно непритворной, грустью отвечал рассказчик. — Шесть миллионов. Я не мистифицирую вас. У меня есть свидетели...

— Черти?! — спросил доктор, заливаясь хохотом.

— Люди, — недовольно отвечал рассказывавший и прибавил:

— Вы смеетесь над тем, что должно внушать ужас, и ужасаетесь глупых бредней, стоящих улыбки сожаления. Я не буду больше и говорить об этом.

Ракитский — так звали нашего собеседника — был бледен и, по-видимому, сильно ажитирован.

Мы переглянулись с недоумением.

— Кстати, — вмешался один из собеседников: — ты начал говорить про Лагунина; при чем тут он?

— Он? Он... Ну, одним словом, я не скажу ничего больше...

Понятно, что это усилило наш интерес, и мы пристали к нему с просьбой не испытывать больше нашего любопытства.

Ракитский подумал, закурил сигару и согласился.

— Я расскажу вам, — начал он, и голос его звучал строго и торжественно, — очень странную, почти невероятную историю из области сверхъестественного, которая, однако, случилась очень недавно и имеет, как

я уже заметил, достоверных свидетелей. Вы узнаете, как в наше время, люди нашего типа, простые и обыденные, могут продать свою душу дьяволу, и как страшны своим демонизмом злые духи наших дней, сравнительно с своими легендарными предками.

— Ах, я понял! — воскликнул один из присутствующих, молодой, начинающий адвокат: — Ракитский хочет рассказать нам историю о человеке, продавшем свою душу не буквально, а иносказательно, разумея под именем души убеждения, принципы... Не так ли?

— Не так! — отвечал тот. — В моей повести фигурируют и стихийные силы, и... многое другое, о чем вы сейчас услышите. Знаете ли вы, что такое эфиризация?

Мы знали об этом очень немного.

— Ну, так узнаете из моего рассказа. Дело было так, — начал Ракитский. — В один из мерзейших ноябрьских вечеров прошлого года, я шел с Лагуниным по Казанской улице.

Была оттепель; сырой, холодный туман застилал мерцавшие огоньки фонарей; небо было совершенно одного цвета с уличной слякотью; моросило что-то, не имеющее названия и, в довершение, дул пронзительный ветер.

Сколько мне помнится, мы гуляли. Это не должно удивлять вас: непогода совершенно гармонировала с той слякотью, которая наполняла все атомы нашего существования, и, странное дело, до сих пор я не могу усидеть в своей комнате, когда слышу, как барабанят в оконные стекла капли дождя и разгуливает по улицам осенний ветер. Если вы подумаете, что неудобствами таких эксцентричных прогулок мы хотели заглушить наше ненормальное нравственное состояние, то вы почти не ошибетесь.

Мы провели на улице около четырех часов, и сильная усталость несколько нас успокоила. Заботы, тревоги, сомнения, все назойливые злобы дня отошли на задний план и дали место одному чувству — усталости и одному желанию — отдыха.

Эта прогулка открыла мне многое, чего я до сих пор не подозревал.

На Лагунина, материальное положение которого было так же незавидно, как и мое, напал припадок озлобления. В этот вечер он находил своеобразное удовольствие беречь свои сердечные раны, бичуя себя, глумясь над собою.

До этого, памятного для меня, вечера я, вместе со всеми, считал Лагунина за милейшего молодого человека «из нынешних». Много добродушия, очень много юмора, больше, чем нужно, лени и апатии, немного природного ума, «среднее» образование и развитие и полное отсутствие воли, — вот все черты нравственного облика Лагунина, к которым самый глубокомысленный психолог не прибавил бы ничего больше и... ошибся бы также, как я.

Добродушие моего товарища было боязнь выказать свое жестокосердие; невинный юмор маскировал собой злобный сарказм; апатия прикрывала жгучую, но бесплодную жажду деятельности, и весь этот маскарад при дневном свете происходил от бессилия воли и безграничных, доходивших до мании, самолюбия и самомнения. К этому присоединялась бедность, неудобство обыденное и заурядное, но действовавшее на Лагунина трагически. Его настоящее, неприглядное само по себе, казалось еще худшим, сопоставленное с прошедшим и будущим. Это настоящее было жгучим раскаянием о прошлом и подавляющим, бесильным страхом за будущее.

Лагунин родился в семье, принадлежащей к третьеразрядному, так называемому «темному» купечеству. Отец его составил себе стотысячный капитал, который после его смерти перешел в собственность восемнадцатилетнего Лагунина. Эти деньги сделались источником его несчастья.

На шестом году он остался круглым сиротой.

Лишенный ласк матери и нравственного влияния отца, Лагунин скоро нашел замену того и другого. За деньги все окружающие относились к нему с материнской нежностью и за деньги же он был окружен менторскими заботами солидных и почтенных людей.

На воспитание характера и наклонностей также повлияли эти всемогущие деньги. Деньги делали его бесконечно добрым и возвышенно благородным; с ними он был, в глазах людей, умен, развит, образован и даже талантлив; за них — любим и уважаем. Одним словом, ценой своих денег Лагунин был счастлив, и это счастье вошло у него в привычку.

Между тем, наследство уменьшалось.

Наступало время свести итоги, оглядеться и глубоко призадуматься, но Лагунин ничего не видел, кроме своих совершенств.

Бедность наступила как-то мгновенно.

После трех лет безумной траты денег, у него не осталось ни гроша, но Лагунин не придавал этому обстоятельству особой важности.

— Разве нельзя трудиться? разве нельзя сделать многое с моим умом, с моей волей?..

Но, когда он не мог накормить своих кровных, закадычных друзей ужином, то ему блистательно доказали, что он, если и не глуп совершенно, то, по крайней мере, далеко не умен.

Когда, позже, он страстно, мучительно возненавидел все и всех, он увидел сам, что доброта не была в числе его добродетелей.

Одно за другим исчезали все высокие свойства и таланты Лагунина, и он сам в них разочаровался.

Привыкнув видеть в себе гения, он должен был спуститься на уровень ничтожества, чуть не идиота, всеми презираемого.

Нищета, между тем, давила его с каждым днем все сильнее. Оставалось одно самоубийство, но и для этого у Лагунина не хватило воли.

Мое знакомство с Лагуниным относится именно к этому тяжелому для него времени.

Мы тогда жили вместе, и, в описанный мною вечер, он откровенно разъяснил свое положение.

Было о чем подумать. Приходилось восстановить человеческое достоинство, вернуть счастье... Чем? Опять деньгами? Откуда их взять, да и стоит ли? Кроме того, Лагунин не был способен ни на труд, ни на преступление. Он не умел жить и не мог умереть; он даже не имел возможности искать забвения в пьянстве, так как совершенно не выносил спиртного запаха.

Я стал за ним наблюдать; но около этого времени у меня случилось дело, заставлявшее меня по целым дням и далее неделям не бывать дома.

Однажды, возвратясь, после продолжительной отлучки, домой, поздним вечером, я был удивлен странной картиной, которую представляла собой комната, обитаемая Лагуниным и мною.

Еще в то время, когда я поднимался по лестнице, меня поразил какой-то острый, своеобразный запах, несколько напоминающий собой гофманские капли.

Когда я вошел к комнату, этот запах ошеломил меня.

В комнате было три человека: Лагунин, Лесков и еще кто-то, мне незнакомый. Лагунин сидел на диване, без сюртука, с расстегнутым воротом. Лицо его представляло все признаки опьянения; но взгляд, устремленный куда-то далеко, был, однако же, совершенно сознательен. Губы улыбались.

Я никогда не забуду этой улыбки.

В этой улыбке было все: целый рай сладострастия и святой вдохновенный восторг борца, умирающего за идею... Это была улыбка идиота, почувствовавшего в себе всеобъемлющий гений; улыбка фанатика, раздавливаемого колесницей Браммы.

Я рискую остаться непонятым: — она выражала собой блаженство безумия.

В углу комнаты, за чайным столом, сидел Лесков. Пред ним стоял чайник, в отверстие которого был вставлен стакан с какой-то бесцветной жидкостью. Лесков сидел, нагнувшись над стаканом, и жадно, усиленными движениями груди, вдыхал в себя с наслаждением пар, издававший замеченный мною прежде запах.

— Что это такое? — спросил я нерешительно, стоя на пороге комнаты.

Лагунин повернулся ко мне.

— Что?! — спросил он тихо, и звук его голоса, глубокий, взволнованный, дрожащий, как бы от избытка ощущений, прошел по мне электрической искрой.

— Что! — повторил он двумя тонами ниже, и мне послышался добрый, насмешливый укор. Интонация звучала сожалением обо мне, непосвященном в тайны его восторга.

Я никогда не предполагал в человеческом голосе таких выразительных звуков.

Лагунин отвернулся и сосредоточился в самом себе.

Я разделся и подошел к Лескову.

— Что ты делаешь? — спросил я его.

— Разве ты не видишь! — вдруг сказал он мне расстроганным шепотом, и меня снова поразило выражение блаженства на его лице.

Я начинал догадываться.

Третье лицо, находившееся в комнате, было мне незнакомо, но оно останавливало на себе внимание.

Это был молодой еще человек, лет 28. Лицо его поражало бледностью и худобой; волосы были редки и отошли далеко назад, освободив большой и широкий лоб; глаза смотрели зорко и сознательно; на губах играла презрительная усмешка, но вокруг рта лежали складки, в которых можно было прочесть печальную историю незадач и оскорбленного самолюбия.

Николай Демьянович Паклин был человеком одного типа с Лагуниным и мною.

— Что это такое? — спросил я, обращаясь теперь к Паклину.

— Это? Вы не знаете? Это — эфиризация...

— Эфиризация?!

— Да... Люди, не испытывавшие действия эфира, называют эфиризацию утонченным пьянством, но это неправда. Эфир не опьяняет, он не затемняет рассудка, он только отрешает дух от тела, уносит человека с земли. Эфир — это родной брат опиума и гашиша...

— Но ведь употребление его, должно быть, очень вредно?..

— Д-да... пожалуй... Впрочем, вредно все, употребляемое в излишке...

— Скажите мне, — начал я, теряясь от этого открытия: — это — эфир?.. их много... как он называется? как его употребляют? какое он производит действие?

— Я не имею права сказать вам название этого эфира... Я очень жалею, что узнал это название сам. Его вдыхают... Последствия эфиризации проходят через 5-10 минут. Что касается до действия, то посмотрите...

Я взглянул на Лескова.

Он оторвался от стакана и сидел, откинувшись на спинку кресла.

Его поза, лицо — выражали полное достижение всего, что составляло когда-нибудь предмет желаний человека.

— Наблюдайте,—сказал Паклин и, отойдя от меня, взял стакан, оставленный Лесковым, сел на стул и наклонился над отверстием стакана.

Лесков внезапно вскочил и, смотря перед собой, протянул руки вперед.

— Ах! вот! вот! — повторял он безумным, радостным шепотом.

Мне было жутко и любопытно; я осторожно подошел к нему и спросил:

— Что ты видишь?

Лесков быстро повернулся ко мне.

— Этого нельзя рассказать, ты не поймешь...

И он с благоговейным, любовным восторгом опустился на колени.

— Это — женщина? — добивался я.

— О нет!.. я не вижу ничего особенного, но... — Он снова умолк.

Я пожал плечами и вопросительно взглянул на Паклина; тот сидел неподвижно; когда он поднял от стакана свою голову, я не узнал его.

Та же самая улыбка безумного торжества. Морщины на лбу разгладились, складки разошлись.

Он широко жестикулировал и говорил что-то бесвязно и отрывочно.

Лагунин сидел в прежней созерцательной позе; Лесков лежал теперь на кровати, издавая по временам крики дикой радости.

Это странное трио внушало ужас. Обстановка, как нельзя больше, способствовала впечатлению.

По комнате ходили волны какого-то густого, опьяняющего тумана.

Одна из двух свечей догорела до конца и зажгла бумагу, которой была обернута. Яркое, колеблющееся пламя придавало фантастические очертания всем, находящимся в комнате, предметам.

Я начинал пьянеть от тяжелой, удушливой атмосферы комнаты. Страх прошел и заменился чувством решимости и беззаветной удали. Мне, как сказочному богатырю, казалось, что если бы был столб от земли и до неба, я повернул бы всю землю.

Я решительно подошел к столу.

Когда я приставил свой рот к отверстию стакана и вдохнул несшиеся из него острые испарения, у меня начались приступы легкого кашля. Я сделал еще несколько вдохов и почувствовал сильное головокружение. Опьянение производилось быстро. Прежде всего, меня поразило ощущение какой-то жгучей, но сладкой боли в груди. Сердце билось усиленно и замирало так, как это бывает, когда находишься на страшной высоте и ежеминутно рискуешь упасть с нее. В то же самое время, это замедление сердца имело свою приятную сторону. Казалось, что весь организм потрясен каким-то радостным, счастливым для меня событием, и это потрясение сосредоточилось исключительно в сердце. Мои губы непроизвольно складывались в улыбку; я хотел удержаться и... не мог. Чувство восторга поглощало меня все больше и больше. Я захохотал, неудержимо, громко, как не смеялся давно, может быть, никогда.

Несмотря на это непроизвольное выражение веселости, я сохранял полное самосознание. Головокружение прошло, и мозг был совершенно чист и ясен.

— Как хорошо! — думал я. — Отчего это? С чем это можно сравнить? Прежде всего, чувственность не играет

здесь никакой роли... О, да, никакой! — повторял я мысленно с благородным, но смешным теперь для меня экстазом. — Это — вот что: если бы я любил чисто и свято, если бы я был любим и... она, любимая девушка, умерла, а потом неожиданно я увидел ее снова прекрасной, любимой, любящей!..

Это положение привело меня в такой восторг, что я не мог более сдержаться и закричал.

Мой крик смешался с восклицаниями неудержимой радости Лагунина и Паклина.

На этом прерываются мои воспоминания о первом сеансе эфиризации. Я впал в беспамятство и очнулся только на другое утро. Пробуждение было ужасно. Я не страдал ни одним из тех последствий, которым подвергаются пьяницы после бурно проведенной ночи. Моральные наслаждения дали в реакции моральные же недуги. Преобладающим чувством, когда я проснулся, было отвращение. Мне было невыносимо противны и серый день, и убогая комната, и я сам... особенно, я сам.

Лагунин ходил по комнате, сумрачный и озлобленный.

— Что это за гадость мы вчера делали? — спросил я, и меня рассердил и звук моего голоса, и нелепость вопроса.

— А что, тебе очень скверно? — ответил он мне вопросом, с злорадным, как мне показалось, любопытством.

Я промолчал.

— Эфиризация, — продолжал он задумчиво, — верный способ уйти от мерзости бытия.

— Что такое «мерзость бытия»? — спросил я.

— Все! Хотя бы эта постоянная и насущная необходимость заботиться о своем брюхе, ничтожном, но про-

жорливом брюхе, часто совершенно убивающем дух, на счет которого существует.

— Впрочем, дело не в том, — продолжал Лагунин, — я хотел только сказать, что человек, подвергавшийся накануне действию эфира, должен презрительно улыбнуться, плюнуть, отвязать шнурок от халата, накрутить его, вот так, на гвоздь...

И Лагунин, говоря последние слова, оторвал пояс своего халата и привязал его к гвоздю.

Я не знал, дурачится он или...

— Сделать маленькое приспособление и... *finita la comedia!*

Он быстро всунул голову в сделанную петлю и повис, подогнув колени, так как гвоздь был прибит ниже человеческого роста.

Я бросился к нему, схватил лежавший на столе нож и перерезал шнурок.

— Что ты?! С ума сошел! Что ты делаешь!

Лагунин сделал гримасу.

— Я пошутил, — тихо сказал он.

Следующая за тем неделя не принесла с собою ничего нового. Наши волнения поулеглись; я не мог без содрогания слышать самого запаха эфира. Лагунин тоже пришел в нормальное состояние, по-прежнему много говорил, горячо возмущался, бедствовал и ровно ничего не делал.

В один из вечеров Паклин рассказал нам, что первые сведения об употреблении эфира он получил от доктора К-ка, занимавшегося изучением действия эфира на организм при составлении своего сочинения «Учение об истерике». По словам Паклина, действие эфира не ограничивалось приведением человека в идиотически-блаженное состояние; при продолжительном употреблении эфир вызывал галлюцинации, свойства, в большинстве случаев, приятного и всегда строго

отвечающего индивидуальным особенностям человека. Так, любитель музыки, имея галлюцинации слуха, наслаждается звуками; субъект с сильно развитым чувством потрясается драматическими сценами из своей жизни. Самолюбивые и гордые люди получают, в реальных образах, полное удовлетворение своей гордости и т. д. сообразно с индивидуальностью каждого.

Лагунин, слушавший все это внимательно и серьезно, сказал:

— Да, все это очень странно... Хотите ли, я расскажу вам те галлюцинации, которые испытывал я...

Мы поспешили согласиться.

— После восторгов, которыми начинается опьянение, — начал Лагунин, — я почувствовал потерю сознания... Такое состояние не было похоже ни на обморок, ни на сон. Я потерял только сознание места и времени. Вокруг меня был мрак, не ночи или смерти, а какого-то другого мира. Из этого мрака выделились две ярко-красные, горящие точки, они приближались ко мне, и я ясно увидел два глаза; потом около моей головы пошли, описывая концентрические круги, какие-то блестящие полосы; одна из них коснулась моей шеи, и я перестал что-либо видеть и слышать. Это было в первый раз. В следующий сеанс, галлюцинации повторились в таком же порядке: сначала мрак, потом глаза, и к этому прибавился шепот, подсказавший мне, кому принадлежат глаза... Вам покажется смешным, когда я скажу, что на четвертый или на пятый раз...

— Стало быть, — воскликнул я с удивлением, — ты продолжаешь эфиризоваться?!..

— Не в том дело, — отвечал Лагунин. — На пятый раз я сознавал перед собою присутствие некой стихийной силы, злой воли... того, кто называется дьяволом... Я его видел, осязал, говорил с ним...

Лагунин засмеялся резким, неприятным смехом и умолк. Паклин скоро ушел.

Когда мы остались одни, Лагунин снова завел разговор об эфиризации.

— Я скажу тебе нечто новое, — говорил Лагунин: — У меня есть теория продажи души дьяволу... Развить ее?

— Развивай, что хочешь! — с притворной досадой отвечал я.

— Вот она. Человек наших дней заключен в такую грубую, вещественную оболочку, что материи, более тонкой, — духу, хотя бы и злему, нет никакой возможности прийти с ним в общение. Если признать существование иных сил и, вместе с тем, найти способ общения с ними, то продажа души дьяволу возможна... Я нашел и способ общения и эту возможность.

Я вскочил с постели. Лагунин произнес эти слова так серьезно, что я усомнился в его рассудке.

— Ты испытывал действие эфира на себе... и первое, что ты заметил, было освобождение твоего духовного я от материальной оболочки, не правда ли? Вот тебе способ общения... Что касается возможности... Я еще не знаю... Впрочем... мне предложены услуги... Шесть миллионов русскими кредитными рублями, или же один неизменный серебряный рубль, так называемый «фармазонский»... Я выбрал первое.

Тон речи Лагунина был шуточный, но сквозь смех проглядывала странная уверенность. Я не знал, что и думать.

— И заметь еще одну странность, наша сделка должна произойти в следующий, тринадцатый сеанс, не в четырнадцатый или двенадцатый, а именно в это мистическое число. Что ты на все это скажешь?

— Что ты сошел с ума! — ответил я на этот раз с искренним негодованием, повернулся на другой бок и скоро уснул.

На другой день я уехал в В-ъ и пробыл там около двух недель.

Возвратясь, я уже не нашел Лагунина.

Действительно он получил взамен души,— деньги, которые и тратил самым безумным образом.

Легенды повествуют нам, что человек, продавший свою душу, расплачивается за земные наслаждения только после своей смерти. Злой дух Лагунина сделал хуже; он отнял его душу еще при жизни. Лагунин сошел с ума.

Он был одержим тихим помешательством, которое на больничном argot называется «счастливым». Лагунин был помешан на «счастье», которое для него олицетворялось деньгами. Вокруг него лежали ворохи разной бумаги, газетной, оберточной, писчей... Он аккуратно разрывал ее на небольшие кусочки и с горделивым торжеством раздавал окружающим.

.....



ЛУЧШЕ НИКОГДА, ЧЕМ ПОЗДНО

Помните ли вы дни нашего далекого, милого, невозвратного детства? Если вы не забыли еще тихого взгляда вашей матери, если в ваших ушах звучат еще иногда убаюкивающие напевы колыбельной песенки, если, наконец, вы помните что-нибудь из тех удивительных волшебных сказок, которые когда-то так восхищали вас, вы согласитесь со мною, что время рождественских праздников имеет странную и своеобразную особенность. Рождественские праздники — время фантастики. В темных уголках комнаты, слабо освещенной отблеском догорающего камина, в прозрачном воздухе улицы, в высоком, усеянном мириадами огоньков, небе, везде чудится нечто таинственное, тихое и ласковое, будто пришедшее из далекой страны вашего детства, будто принесшее поклон от вашей утраченной молодости и добрые вести от вашего, куда-то запропастившегося счастья.

Так, или почти так, думал герой этого правдивого рассказа — Акакий Петрович Купырька. Акакий Петрович представлял собою обыкновеннейшего человека из всех обыкновенных людей. Он был средних лет, среднего роста, средней полноты, среднего чина и получил «среднее образование». При этом, Акакий Петрович имел самую обыкновенную наружность и занятия (он служил в «департаменте внешних дел»). Привычки его были весьма простые, а надежды, планы, желания — самые обыденные.

Только одно, самое пламенное из его желаний носило характер некоторой фантастичности и, принимая в соображение средства Акакия Петровича, неудобно-

исполнимости. Он непременно хотел посетить чужие, далекие страны.

Накануне Рождества, вечером, когда застаёт Акакия Петровича этот рассказ, он как-то особенно размечтался о своем, давно предполагаемом путешествии.

— Пора, — думал он, — давно пора. Меня уже начинает покрывать плесень. Надо освежиться... Красоты природы, произведения искусства, иные люди, иные нравы, вечная весна... Увидя все это, я рискую умереть от восторга. Дрожал же я когда-то от радости, завидев первый листок, распускающийся на дереве!

Мысли Купырьки приняли практическое направление, он рассчитал, что для путешествия ему не хватает трех-четырёх-сот рублей. К весне эти деньги будут отложены, и тогда!..

Купырька, взволнованный и потрясенный, поднялся с кресла, на котором сидел.

— Стало быть, — думал он, — через два-три месяца я отправлюсь. Какими долгими покажутся мне эти три месяца... Надо как-нибудь сократить их, уйти в скорлупу, замкнуться, забыться... Мне будет нетрудно сделать это: я просидел в своей скорлупе тридцать лет, и вся моя жизнь — забытие, бессодержательное, бесцельное, пустое, туманное...

Купырька снова сел в свое кресло и глубоко задумался.

.....

Три месяца прошли, как один день, или, пожалуй, как все последние тридцать лет. Акакий Петрович не заметил их. Он начал сознавать себя только в вагоне.

Путешествие! Заграничный паспорт в кармане, деньги там же; полсотни сигар в дорожной сумке; ма-

ленький чемодан под скамьею; два-три экземпляра дельных газет и столько же недельных журналов, ярко вымазанных всеми цветами радуги, — разбросаны на сиденье. Варшавский вокзал, вагон 2 класса, пикантная визави из породы перелетных ласточек, третий звонок и... вздох облегчения и улыбка торжества, сарказма, насмешки всему, что остается здесь, под серым небом Петербурга. Прощальная улыбка геморрою, привет протертому камышовому стулу, улыбка тюремным стенам департамента и швейцару, поставленному только для того, чтобы разливать желчь у всех ищущих его услуг.

Свисток обер-кондуктора, ответный свист паровоза... Ра-а-з, ра-а-з; ра-з, ра-з; раз, раз, раз...

— Поехал... Еду... Уехал. А!!

Музыку делает тон, и на свете нет ничего полнее и выразительнее тонов человеческого голоса. Если бы Сальвини был призван на консультацию с Росси, Барнай, Бернар, то и они бы остановились перед выразительностью этого короткого, ничего на бумаге не выражающего «А!».

В нем было все, в этом «А!». Тут было наслаждение новизной положения, дикий восторг обитателя Новой Деревни, очутившегося внезапно на берегах озера Комо. Это был жгучий протест против жизни, связавшей человека по рукам и ногам, зажавшей ему глотку, приковавшей его к тачке навсегда... Это был гнев, но он звучал примирением. Это была обида, но ее хотели простить.

Акакий Петрович откинулся на спинку дивана и делал нечеловеческие усилия, чтобы скрыть расплывшуюся по всей его добродушной физиономии блаженную улыбку довольства. Он не хотел компрометировать себя перед соседкой.

Быстро промелькнули первые станции. В памяти осталась только одна, именно та, где пришлось обедать, хотя и с опасностью подавиться, но зато с аппетитом школьника, сдавшего экзамен и старающегося поэтому, как можно скорее, забыть все, что запоминалось с таким трудом.

Вечерело. Непривычный к продолжительной езде по железной дороге, Купырька чувствовал усталость и какую-то немую боль во всех членах. Он сделал кое-какие приспособления и постарался уснуть, но чем больше он желал сделать это, тем меньше чувствовал себя способным забыться хоть на минуту. Купырька продрал головой подушку, принимал самые невозможные позы, но сон бежал от его глаз.

— Ну, что же, — думал он, — маленькие неприятности не должны мешать большим удовольствиям. Я буду вознагражден. Я воочию увижу Европу... Париж... Одно слово, которое дает тысячи идей...

.....

И вот он — Париж.

Бульвары, рестораны, пассажи, движение, свет, толкотня, гортанная скороговорка, нарядные женщины, роскошные здания, блеск, сутолока, шум бури и грохот водопада.

Купырька слоняется по улицам с чувством боязливого недоумения. Он находится в положении человека, попавшего на большую фабрику. Барабанная перепонка разрывается от стука и треска, глаза утомлены целой системой вертящихся колес, острые испарения захватывают дыхание.

Восхищения, восторгов, — нет и следа; их заменяет боязливое отвращение. Музеи, картинные галереи,

театры, уличная жизнь, ничто не удовлетворяло Купырьку.

— Это не для меня, — говорил он себе. — Я слишком горожанин, чтобы прельститься городом. Мне нужно другое: тишина полей, ласковый плеск моря...

А между тем, в его душе таилось сознание, что он не умеет взять того, что предлагаете ему блестящий город. Это была какая-то странная апатия, нравственная импотенция, причины которой Купырька не понимал. Он намеревался уехать.

Судьба, однако, решила иначе.

В Париже, этом современном Содоме, Купырька встретил девушку, чистую и невинную, как лепесток розы.

Это, конечно, было удивительно, но на свете бывают вещи еще более странные.

Девушка полюбила его.

Его, внушавшего всем чувство веселости или насмешливого сожаления!

Она полюбила его, несмотря на его лета, наружность, душевную черствость, полюбила, может быть, потому, что видела в нем человека уничтоженного, задушенного, сплюсненного прессом жизни.

Однажды, это было прекрасным, благоухающим вечером, она положила свои маленькие ручки на его плечи и сказала: «люблю тебя!»

Купырька смешался, сконфузился, потом, оправившись, начал долго, очень долго и очень красноречиво объяснять ей, что она ошибается, что она не может любить его и что сам он уже не в состоянии откликнуться на ее чувство.

Говоря откровенно, он подозревал ее в притворстве, может быть, далее в желании эксплуатировать его. Он не хотел, он не умел понять, что так притворяться нельзя. Он не замечал, с какой детской доверчивостью

смотрели на него голубые глаза девушки, как часто и громко билось ее молодое сердце.

В течение целой жизни, он видел вокруг себя только ложь, и вот, когда в первый раз ему пришлось встретиться с правдой, он не узнал ее.

— Да, да, — самодовольно твердил он себе, — я, северный медведь, застрахован от увлечений... Меня не обманешь... Я уже пережил эту пору... Мне не к лицу это... Поздно!

Однако, придя домой, он бросился в свою постель, зарыл голову в подушки и пролежал так три дня...

Долго, очень долго томился Купырька воспоминаниями об этой любви, пришедшей Бог весть откуда, Бог знает зачем, от которой он отказался так же, как самоубийцы отказываются от жизни.

Разве любовь не жизнь? Разве жизнь не любовь?

Париж сделался невыносим для Купырьки. В грохоте экипажей, в уличном шуме, в шелесте листьев, везде слышалось ему ненавистное, ужасное, леденящее слово: поздно!

.....

Италия. La bella Italia. Венеция. Лагуны, дворец дождей, гондолы, лаццарони, музыка, напевы, песни. Вечный, убаюкивающий плеск моря, беспредельная глубь синего неба и, среди всего этого, фигура Акакия Петровича Купырьки, полная трагического комизма.

— Отчего мое сердце не бьется восторгом, — шепчет он, как бы боясь, чтобы его не услышал кто-нибудь. — И кто это сказал, что в Италии чудное море, прекрасный климат, роскошное небо, цветы и благоухания, любовь и розы...

Можно ли так бессовестно лгать!

Италия — это страна сквозного ветра, домов без печей, адской жары, дождя, гнусавых монахов и нищих, а Венеция — город насморка... Лагуны во время отлива сильно припахивают, а гондолы очень похожи, в миниатюре, на те «канальские» пароходики, которые ходят в Петербурге, по его каналам.

Солнце медленно погружалось в волны безграничного моря. Тихий ветерок навевал мечты...

— Ужасно тяжелая вещь — эти макароны, — думал в это время Купырька, — и что это за меню? Суп с макаронами, к жаркому макароны, паштет из макарон...

Купырька, совершенно неожиданно даже для самого себя, покраснел.

— Что же это я!? — сказал он почти вслух. — Вокруг меня все чудеса благодатного юга, торжество природы, праздник весны, а я... Отчего я не восхищаюсь всем этим? Отчего я не падаю ниц пред тем, о чем мечтал целую жизнь? Отчего я не нахожу того, что надеялся встретить?!

А тихий ветерок, несшийся издалека, будто нашептывал, будто подсказывал: «поздно, поздно, поздно!»

.....

Страна солнца — Египет.

Купырька стоит перед пирамидой и смотрит на колоссальное сооружение, а с пирамиды взирают на него «двадцать веков». Акакий Петрович не находит, однако, ничего особенного в глыбах бурого камня; двадцать веков, в свою очередь, видели слишком много, чтобы заинтересоваться титулярным советником Купырькой.

Акакий Петрович заносит в дневник свои впечатления: «Пыль, зной, жара, вот отличительные при-

наки той местности, куда закинула меня любознательность. Вместо поэтических призраков седой древности, пирамид, сфинксов, саркофагов, мумий, пальм, легенд, меня встречают впечатления отрицательного свойства. Я не могу проникнуться и вдохновиться этими призраками, а вот пыль и песок, те, действительно, проникают и за голенища, и за спину, и в волосы, засыпают глаза, забиваются в нос, хрустят на зубах!».

Акакий Петрович сидел на обломке колонны сурового стиля.

— Да, — говорит он, — я видел Рейн при лунном сиянии, слышал напевы Швейцарии, был в вечном городе, бродил по Колизею... Я, проживший почти полвека на углу Фонарного переулка и Екатерининского канала (д. № 9, кв. 64, прибавила, независимо от воли, его память), я вижу теперь пирамиду Хеопса... закат африканского солнца... Вон пальмы помахивают... помахивают надо мной...

И Акакий Петрович пришпоривал свое поэтическое чувство, как ленивую лошадь.

Он никак не мог напасть на мысль, что лошадь вовсе не была ленива, о, нет, это был добрый конь, но он застоялся в российской конюшне, за неимением свободы движения отяжелел, и никакие усилия не могли заставить его вспомнить свою прежнюю, хотя и довольно отвлеченную, какую создает русская жизнь, прыть.

— Помавала... помавала...

Дальше этого поэзия не шла.

Купырька заплакал.

— Я неблагодарный, — говорил он. — У меня нет эстетического чувства... Я прозаик, материалист... Хуже: я чиновник!

Он не мог придумать более верного и выразительного эпитета.

— Да, чиновник, а не человек!

Купырька говорил, а слезы катились по его загорелому, добродушному лицу, смешивались с пылью и текли маленькими ручьями жидкой грязи.

— Я чиновник и, поэтому, поеду лучше домой, буду по-прежнему ходить в департамент, и писать там дополнения к отношениям. Такова, видно, уж судьба нашего брата — ни на что, за исключением канцелярии, не годиться. Мертвым не следует вставать из гроба.

Опущенный взгляд Акакия Петровича упал на колонну, которая служила ему сиденьем. Она была покрыта стершимися от времени письменами; теми письменами, которые мог читать только один Шамполлион, да и то потому, что его некому было проверить.

Вдруг...

Купырька, как ужаленный, вскочил с камня и с испугом отер лоб, как бы опасаясь, что слишком жгучее солнце подействовало на его умственные способности.

Было чего испугаться.

Акакий Петрович получил в детстве реальное образование и не только не мог разбирать иероглифов, но даже не знал греческого языка, того самого, изучение которого сделалось обязательным для всех молодых людей, желающих заниматься впоследствии перепиской канцелярских бумаг «по вольному найму» и, вообще, спасти отечество.

Теперь же Купырька прочитал иероглифы, начертанные на колонне.

Иероглифы говорили: «Лучше никогда, чем поздно».

Эти немногие слова осветили Акакию Петровичу многое.

Он не успел еще прийти в себя, как собралась гроза. Ветер бушевал с силой, превосходящей всякое описание. Стемнело; яркие зигзаги молний слепили глаза.

К довершению ужаса Акакия Петровича, он ощущал какие-то подземные толчки.

Песок засыпал ему глаза, почва колебалась. Опрокинутый сильным ударом, Купырька упал на что-то жесткое.

В крайнем ужасе, он открыл глаза и увидел себя... на полу, в вагоне.

Поезд, стуча и громыхая, подходил к станции. Свеча в фонаре догорела и, мелькая, производила в сновидении Акакия Петровича впечатление молнии.

Стало быть, это был сон!

Сон!.. Между тем, действительность так соответствовала этому сну. Непривычный к путешествию, Акакий Петрович был весь изломан, голова его горела, мысли путались... Он с грустью сознавал, что «поздно» часто бывает синонимом «никогда». Его сновидение навевало на него тоску. Он загрустил по хмурому, осеннему небу Петербурга, по его улицам, скверам... Он понял, что «прекрасное далеко» не для него; не было сил ни душевных, ни физических, чтобы воспринять это прекрасное. Тогда он вышел на станцию, взял обратный билет и, так как на этой станции встречались два поезда, то через полчаса Купырька уже ехал по направлению к Петербургу. Невеселые мысли бродили в его голове, когда он подъезжал к станции Ландварово. Он считал свое путешествие оконченным так печально, так глупо, так неудачно. Поезд только что вышел со станции и начал брать ход, как послышались свистки паровозов, страшный шум, лязг цепей, треск ломающегося дерева... Вагон начал качаться из стороны в сторону, приподнялся, так сказать, на задние ноги, вздрогнул и...

— Да вставайте же, барин! Чтой-то такое! Бужу, бужу...

Перед Купырькой стояла подруга его одиночества — кухарка Акси́нья.

— Несчастье? Сошел с рельсов!? Столкнулись поезда! — бормотал Купырька спросонья.

— Эх, какой вы несоответственный человек, право! — горячилась Акси́нья: — точно малый ребенок... в креслах заснул... Вставайте... там дворники с праздником поздравить пришли.

— Так, стало быть, это я... во сне?! Это все было во сне? И путешествие, и возвращение... и мой сон тоже был во сне? Какой странный сон! «Лучше никогда, чем поздно»... Поздно!!..

— Гони их в шею, — прибавил он неожиданно.



ОБЕЗЬЯНА И ЖЕНЩИНА

Я познакомился с Соловцовым в конце восьмидесятых годов, когда он только что начинал свою литературную карьеру. Он произвел на меня самое благоприятное впечатление. Это был человек высокого роста и сильного сложения с лицом шиллеровского типа. Увидя раз, нельзя было забыть этого нервного лица, с вечной и тревожной игрой ощущений. Соловцов был человеком общительным, веселым и остроумным, но наблюдательный глаз без труда мог заметить, что веселость эта чисто наружного свойства и маскирует собою нечто другое, прикрывает какое-то великое горе.

Через два или три месяца я был с ним «на ты» и знал все подробности этого «горя». С первого раза, оно произвело на меня почти комическое впечатление. Соловцов был одержим галлюцинациями; везде и всюду его преследовал образ, не существующий в действительности, образ... обезьяны.

Позже, когда я узнал о подробностях этой галлюцинации и видел опустошения, которые она производила как в нравственной, так и в физической жизни Соловцова, мое смешливое настроение сменилось страхом и жалостью.

Однажды мы сидели в его кабинете за послеобеденным кофе с сигарами в руках. Помню, что я был особенно благодушно настроен и приставал к Соловцову с расспросами, видит ли он и теперь своего непрощенного гостя?

— Конечно, — отвечал он, — обезьяна сидит за твоей спиной и выглядывает из за твоего плеча.

Я машинально оглянулся назад, но, разумеется, никакой обезьяны там не было. Тем не менее, я чувствовал себя очень скверно и тем сквернее, что Соловцов представлял собою в данный момент совершенно здорового психически человека. Глаза его смотрели вполне сознательно; лицо имело выражение спокойного мышления.

— Однако, я ничего не вижу, — неуверенно сказал я.

— Я знаю, что никто, кроме меня, этой обезьяны не видит, — отвечал Соловцов. — Между тем, я различаю каждый волосок на ее теле. Однажды я справился с зоологическим атласом и убедился, что она принадлежит к породе орангутангов. Она около двух с половиной аршин роста, покрыта рыжеватой, несколько свалывшейся шерстью, узкие глаза ее смотрят лукаво и осмысленно, особенно же неприятна мне постоянная улыбка ее большого, оскаленного рта.

— И часто является к тебе эта обезьяна? — продолжал я свои расспросы.

— Сначала раз в месяц, потом раза два в неделю и теперь почти каждый день. Она не стесняется ни большим обществом, ни обстановкой, ни светом. Я вижу ее в бальной зале, в театре, раза два я встречал ее даже в церкви. Я не особенный христианин, но присутствие этой нечисти, да еще и нечисти-то фантастической, во храме — всегда возмущало меня. Первый раз она явилась ко мне два года тому назад, в этом самом кабинете. Как теперь помню, поздним вечером, я оканчивал одну из своих повестей. Поставив последнюю точку, я взглянул перед собой и увидел ее. Я протер свои утомленные глаза и встряхнул головой, — видение не исчезало. Тогда я встал с места и бодро пошел к нему. Обезьяна пропала, но, когда я обернулся

назад, она стояла, прижавшись к противоположной стене комнаты.

— Ты, однако, сознаешь, что это только галлюцинация, что никакой обезьяны здесь нет и быть не может, что это только призрак твоего воображения, которому ты дал излишнюю волю?

— Конечно, это галлюцинация, но это-то меня и мучит. Настоящую, реальную обезьяну я мог бы выгнать, продать, уничтожить, а присутствие этого отвратительного существа я терплю целых два года и, вероятно, буду терпеть всю жизнь. Два года с глаза на глаз с этим мерзким, насмешливым животным!.. Я делаюсь неспособным к труду... Меня начинает мучить бессонница... Я подумываю даже...

Соловцов замолчал. Лицо его выражало глубокую муку. Мне было невыразимо жаль его.

— Ты, вероятно, советовался с докторами?— спросил я, чтобы прервать тяготившее меня молчание.

— Много раз. Точно следовал их советам... Предпринимал даже, в прошлом году, путешествие.

— И что же?

Соловцов горько усмехнулся.

— Когда я вошел в вагон, — сказал он, — на скамейке сидела моя обезьяна. Мало того, на ней была одета дорожная сумка; она тоже собиралась путешествовать! Да, если Бог захочет наказать человека, он отнимет у него ум, — прибавил он.

Я стал уверять его, что расстройство нервной системы, выражающееся галлюцинациями, не есть еще потеря рассудка, старался развлечь его, но вечер закончился печально и уныло.

Через неделю после этого вечера я уехал из города, оставив Соловцова почти в безнадежном положе-

нии; здоровье его слабело, произведения носили на себе отпечаток душевного расстройства.

С тех пор прошло более пятнадцати месяцев. Весной 1889 года я поехал в Ментону, куда призывали меня хлопоты по наследству. В этом благодатном уголке меня ожидал сюрприз. В первый же день моего пребывания в Ментоне я встретился с Соловцовым.

Если бы он не окликнул меня при встрече, я ни за что не узнал бы его, так он переменялся в эти полтора года. Веселый, здоровый, молодой, он ничем не напоминал прежнего ипохондрика и галлюцината. Он шел под руку с молодой и красивой женщиной, которая, однако, не понравилась мне с первого же взгляда. Было что-то неуловимо хищное и жесткое в бархатном взгляде ее глаз, что-то странное и ложное в детской улыбке ее коралловых губок.

Произошло взаимное представление. Молодая женщина оказалась женой Соловцова. Завязался оживленный разговор и, в конце концов, я попал к Соловцовым и просидел у них целый вечер, вместо того, чтобы быть у нотариуса.

Я никогда не видал Соловцова таким веселым и довольным, как в этот вечер. Он рассказывал мне историю своей любви, не мог нахвалиться своей женой, говорил про счастье, которое она дала ему, восхищался ее красотой и наивностью, словом, вел себя, как настоящий влюбленный. Потом он рассказал мне план своего нового романа, прочел несколько действительно блестящих глав из него и, наконец, со счастливой улыбкой сообщил мне, что призрак, «тот смешной призрак обезьяны», со времени его женитьбы не является ему больше.

Мы засиделись далеко за полночь, и я уверился, что мой симпатичный друг нашел, наконец, свое счастье. Уезжая из Ментоны и прощаясь с Соловцовым, я ощу-

щал, однако, какую-то странную тревогу за это лихорадочное счастье. Я несколько раз начинал искать причины моих опасений и всегда приходил к жесткой улыбке и фальшивому взгляду молодой жены Соловцова.

Прошло еще несколько лет. Житейский вихрь закружил меня, развеял старые воспоминания, заживил старинные раны и заставил забыть прежних друзей.

Прошлой осенью я ехал по какому-то делу через Петровский парк, ранним утром. Погода, после двухнедельного дождя, была теплая и ясная. Я велел кучеру ехать шагом и о чем-то крепко задумался; когда же очнулся, мы почти выезжали из парка. На одной из скамеек, находящихся недалеко от ворот сада, я заметил старческую фигуру, показавшуюся мне знакомой. Странная поза, которую принял этот старик, заставила меня остановиться и выйти из экипажа. Старик сидел, широко расставив свои руки, как будто обнимая кого-то. Он лепетал бессвязные речи и, с видом глубокой нежности, делал гримасы, могущие выражать поцелуй.

— Что вы здесь делаете? — спросил я.

— Я с обезьянкой своей... с обезьянкой разговариваю, — отвечал он разбитым голосом и поднял на меня свои робкие глаза.

— Соловцов!

Я предположил, что имею дело с человеком, потерявшим рассудок. Ласками и убеждениями я заставил его сесть в экипаж и отвез его к себе.

По приезде домой я поколебался в убеждении, что Соловцов сумасшедший. Он рассказал мне события последних трех лет своей жизни так связно и просто, мотивировал свое настоящее положение так естественно, что я до сих пор не знаю, был ли он маньяком, или только человеком глубоко несчастным.

— Помните, вы встретили меня в Ментоне, — говорил он. — Я праздновал тогда свой медовый месяц. Моя жена была прежде актрисой и до замужества носила фамилию Мерцаловой. Этой фамилией полны скандальные хроники многих провинциальных городов. В 18 лет она перебивалась в десятках мужских рук, и все эти руки оставили на ней свои грязные следы. К сожалению, я узнал об этом слишком поздно. Я пережил много тяжелых минут, но никогда не напоминал ей ее прошлого. Первые полгода своей супружеской жизни я прожил, однако, спокойно и счастливо. Потом, мало-помалу, стали проявляться ее грязные инстинкты, ее пошлые убеждения и позорные привычки. Еще в Ментоне поднялись слухи, неудобные для моей супружеской чести. Тщетно я уговаривал ее, мать моего будущего ребенка, пощадить свою репутацию, напрасно я окружал ее всей добротой, на какую только был способен, ее неотразимо тянуло к себе болото, в котором она выросла. Чувство горячей любви к ней заменялось во мне чувством презрения и отвращения. Она возвращалась домой с своих оргий пьяная и утомленная, но я не имел права расстаться с нею, потому что ждал от нее ребенка. Это время, наконец, наступило.

Ненавидя меня, она перенесла свою ненависть и на ребенка. Однажды, возвратившись домой, я увидел, что она била его, восьмимесячную крошку! Я не буду говорить вам, что я с ней сделал. К моему отвращению присоединился ужас. Тело малютки было покрыто синяками. Ребенок умер, когда у него начали прорезываться зубки. Я захворал и, когда пришел в сознание, то узнал, что моя жена уехала с лакеем из гостиницы, в которой мы жили... Вот тогда-то я и понял, что...

Соловцов остановился.

— Что же вы поняли?

— Что муки и ужасы, которые причиняла мне когда-то эта фантастическая, омерзительная обезьяна, ничто в сравнении с муками, которые может доставить — венец создания — человек, женщина, почти ребенок.

— С тех пор, — продолжал Соловцов, — вы, может быть, не поверите мне? — я всей душою, безумно полюбил мой фантастический призрак, — мою обезьяну, но она не являлась ко мне. И только недавно... месяц тому назад... она пришла ко мне... пришла разделить мое одиночество. Если бы вы знали, как я был рад ей! Я отдал ей всю любовь и всю ласку, которые накопились в моем сердце. Когда она со мной, мне становится легче. Я знаю, что у меня есть друг, безмолвный и беспомощный, но который зато не принесет мне и огорчений, который не разорвет в клочки моего сердца.

Соловцов замолчал.

— Да, — сказал он потом, — к такой нежной деликатности никогда не была способна моя жена. Когда мне грустно, обезьяна не смеется и даже, — прибавил он шепотом, — я заметил однажды на ее глазах... слезы!



Примечания

Николай Данилович Павлов (1855/56 – 1908) – драматург и беллетрист; публиковался по собственным именам и под псевдонимами Н. Северов и Н. Д. П. Автор драм и комедий «Помешанная» (1882), «Мечтатели» (1884), «На пороге великих событий» (1889), «Москвичи и петербуржцы» (1892), «В плену у женщин» (посмертное изд. 1914) и др., книг прозы «Рассказы, очерки и наброски» (1892), «Шербекские выборы: Рассказ из фламандских нравов» (1904).

Вошедшие в настоящее издание рассказы Н. Павлова взяты из книги «Необыкновенные рассказы» (СПб., 1892, второе изд. 1899), название которой восходит к известному сборнику Э. По. Для публикации были отобраны рассказы фантастического плана; остальные представляют собой «сценки из жизни» или небольшие истории с неожиданной либо оборванной концовкой. Тексты приводятся по первому изданию в новой орфографии, с исправлением наиболее очевидных опечаток и некоторых устаревших особенностей правописания и пунктуации.

С. 7. ...*Роберта Дьявола* – Речь идет о персонаже средневековой легенды о рыцаре, являвшемся сыном Сатаны или посвятившим свою душу дьяволу, кот. связывалась с герцогом Нормандии Робертом I Великолепным (ок. 1000-1035).

С. 7. ...*Вильмаркэ* – Т. Э. де ла Вильмарке (1815-1895), французский литератор и филолог, собиратель бретонского фольклора.

С. 9. ...*мантевизма* – Мантевизм – распространившееся в России с 1870-х гг. наименование т. наз. «мускульного чтения», техники отгадывания мыслей по произвольным сокращениям мышц и прочим физическим реакциям на речь и другие стимулы.

С. 10. ...*causerie* – Непринужденная беседа (франц.).

С. 14. ...*Revolver-Tasche* – Букв. «револьверный карман», также кобура (нем.).

С. 51. ...*ma parole* – Ей-Богу, честное слово (франц.).

С. 58. ...*гофманские капли* – Капли из эфира и спирта, изобретенные немецким врачом и естествоиспытателем Ф. Гофманом (1660-1742); применялись для лечения легких желудочных заболеваний, при обмороках, как возбуждающее при упадке сердечной деятельности и пр.

С. 67. ...*argot* – Арго, жаргон (франц.).

С. 70. ...*Сальвини... Бернар* – Перечислены имена звезд театральной сцены Т. Сальвини, Э. Росси, Л. Барная, С. Бернар, чье мастерство считалось в свое время вершиной сценического искусства.

С. 73. *La bella Italia* – Прекрасная Италия (итал.).

С. 74. ...*взирают на него «двадцать веков»* – Ошибочно цитируется обращение Наполеона к армии перед битвой у пирамид (1798) между французскими и турецко-египетскими силами: «Солдаты, на вас смотрят сорок веков».

С. 76. ...*Шамполлион* – Ж.-Ф. Шампольон (1790-1832) – выдающийся французский ориенталист и лингвист, первый дешифровщик египетских иероглифов, заложивший основы современной египтологии.

Оглавление

Теория доктора Коцунского	7
Воспоминания покойника	43
Тринадцать сеансов эфиризации	53
Лучше никогда, чем поздно	68
Обезьяна и женщина	79
П р и м е ч а н и я	86

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.